К О Р О Т К И Е
П О В Е С Т И
И РАССКАЗЫ



Людмила Уварова родилась в Москве, в семье профессора-филолога.

В 1941 году окончила Московский институт иностранных языков, преподавала в Военной академии имени Фрунзе, потом перешла на литературную работу, была корреспондентом газет «Вечерняя Москва», «Московская правда», работала в Совинформбюро. Рассказы и очерки Уваровой публиковались в газетах и журналах.

В 1959 году вышел первый сборник Л. Уваровой «Ольховка слушает». За прошедшие годы издано десять книг писательницы.

Людмила УВАРОВА

ГДЕ ЖИВЕТ ГОЛУБОЙ ЛЕБЕДЬ?

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1970

Р 2
У 18

Уварова Людмила

У 18 Где живет голубой лебедь? Рассказы. М., «Сов. Россия», 1970.

В сборник Л. Уваровой «Где живет голубой лебедь?» вошли новые рассказы писательницы.

Героиня рассказа, давшего название сборнику, — пятилетняя добрая выдумщица и мечтательница с редким именем Виолетта. Совсем по-иному внешне воспринимает мир Полина Саввишна Пастухова, но и эта героиня (рассказ «Новоселье») предстает перед читателем человеком удивительной чистоты и душевной щедрости. Тонкий и выразительный портрет старого врача рисует Л. Уварова в рассказе «Святая Елена — маленький остров». Мужанию характера, единению тыла и фронта в годы войны посвящен рассказ «В самом начале».

7—3—2 **Р2**

194—70

НОВОСЕЛЬЕ

Старуху Пастухову, уборщицу Музея изобразительных искусств, не любили ни на работе, ни дома — соседи по квартире.

Впрочем, она об этом знала, но нисколько не сокрушалась.

— Характер у меня такой, никогда ничего не скрою, всю правду в глаза выложу, ни на что не погляжу,— говорила она о себе и потому старалась так и действовать, не таить в себе ни единой мысли, а высказать каждому прямо в лицо все то, что она о нем думает.

Было ей уже далеко за шестьдесят, и хотя председатель месткома несколько раз заводил разговор о том, что почему бы не пойти ей на заслуженный отдых, ведь достаточно уже потрудилась на своем веку,— она разом обрывала председателя на полуслове.

— Пойду в свое время...

И на этом разговор кончался. Иные спрашивали ее:

— Не скучно ли жить одной?

Она отвечала одинаково:

— Я скучать не приучена.

И это была правда, потому что дел у нее было по горло, ни одного дня не провела, сложа руки.

То, придя с работы, займется уборкой — моет полы и дверь, обметает шваброй потолок, то задумает стирку или начинает выбивать во дворе старый изношенный коврик.

Но главным ее занятием после работы — было подыскивать обмен своей жилплощади.

Для этой цели она регулярно покупала справочник по обмену, много раз перечитывала предложения, казавшиеся ей заманчивыми, выписывала на особую бумажку наиболее подходящие, а по выходным дням начинала смотреть объекты.

Глаз у нее был острый, приметливый, не по возрасту, она сразу замечала все то, на что другой человек и внимания не обратил бы,— скрипучие половицы, неисправную форточку, слабый дверной замок, облезлую раковину на кухне.

Не ленясь, она заходила в соседние квартиры, чтобы исподволь раздобыть сведения о жильцах,— каковы в быту, не скандальные ли, есть ли пьющие или, чего доброго, может, кто на руку нечист, потом шла в домоуправление и допытывалась, не собираются ли снести дом, а ежели собираются, то в каком приблизительно году.

В свой черед люди тоже приходили к ней на осмотр, и в конечном счете с кем-нибудь из них она сговаривалась меняться.

Начинались новые хлопоты — выписки из лицевого счета, заполнение различных бланков для обменбюро, добывание справок о состоянии домового хозяйства и точно рассчитанном количестве квадратных метров.

Дело доходило до получения ордеров, уже вплотную обсуждался вопрос, куда раньше должна прийти машина для перевозки вещей и кому из обменивающихся сторон надлежит произвести ремонт,— как вдруг Пастухова ни с того ни с сего отказывалась меняться.

— Я передумала,— упрямо твердила она на все уговоры,— никуда не поеду. Не хочу — и все тут. Что вы со мной сделаете?

И вот таким образом обдуманный с начала и до конца обмен безнадежно рассыпался.

Хотя на работе ее не любили и за глаза честили старой ведьмой, но все отмечали ее исполнительность и точность.

Ни разу за сорок четыре года работы в музее она не опоздала, ни разу не пропустила ни одного дня.

И на общих собраниях директор музея постоянно ставил ее в пример, называя образцом аккуратности и трогательной, бескорыстной любви к музею.

Пастухова не подавала вида, но млела от удовольствия, что, впрочем, не мешало ей при случае высказать любому человеку, хотя бы и самому директору, в глаза все то, что считала нужным, например, свое недовольство излишней снисходительностью, проявляемой к малярам и строителям, которые, по ее мнению, относились к ежегодному ремонту помещений музея очень даже легкомысленно.

Говорила она все это с присущей ей горячностью, потому что и в самом деле ее любовь к музею отличалась подлинно трогательным бескорыстием.

Когда Пастухова была моложе, ей предлагали порой более выгодную работу, например, лифтершей в высотный дом или курьером в издательство, но она не соглашалась.

— Тут у меня глаз всему радуется,— поясняла она,— на что ни гляну, кругом одна красота, а скажем, у лифта сиди, чего там увидишь?

Иные считали, что Пастухова могла бы вполне заменить кое-кого из экскурсоводов, настолько хорошо изучила она за все эти годы экспонаты музея, имена художников и скульпторов, наизусть зная даты их рождения и смерти.

Залы музея обладали особым, присущим каждому очарованием, но для Пастуховой самым любимым, самым привлекательным был Итальянский дворик, где у входа возвышалась гигантская статуя Давида работы Микеланджело. Поэтому она особенно любила убирать в Итальянском дворике. И посетители удивленно поглядывали на тощую старуху с коротко стриженными седыми волосами и костистым лицом, которая подолгу выстаивала то возле всадника Андреа Вероккио, то возле флорентийского льва Донателло, пришептывая про себя и кивая головой, словно переговаривалась с кем-то не видимым никому, кроме нее. Напоследок она подходила к Давиду, каждый раз непритворно удивляясь совершенной красоте его лица и тела.

«Бывают же такие мужики! — думала Пастухова, чувствуя себя рядом с огромной статуей совсем маленькой, почти невидной.— И откуда только такие берутся?»

Ей представлялся великий скульптор Микеланджело, создавший пять сотен лет тому назад своего Давида.

Какой же он был, этот самый Микеланджело? Должно быть, перво-наперво человек умный и старательный, шутка ли, сколько сил и времени, наверно, потратил, пока вырубил из мрамора этакое чудо?

Жила она в большой, густо населенной квартире. Квартира была шумной и недружной. С утра до вечера по длинному коридору бегали дети различного возраста, в кухне впритык один к другому стояли столы, и горелки двух плит, казалось, никогда не уставали пылать под чайниками, кастрюлями и сковородками.

Пастухова была в ссоре решительно со всеми жильцами. Поводов для ссор было предостаточно: шум в коридоре, не во время раскрытая входная дверь, горелка, занимаемая больше часа, пролитая на пол вода, счет за электричество, который полагалось делить на всех...

Ругалась она, что называется, со вкусом, не уставая, на одной и той же ноте, и всегда, из любой перепалки выходила победителем, потому что переспорить Пастухову было невозможно.

Ее боялись, обзывали разными неблагозвучными прозвищами, из которых наиболее мягким была «баба-яга», но ей плевать было на все прозвища и оскорбления, она себе цену знала, могла за себя

постоять. А такие люди, которые себя в обиду не дают, известное дело, не каждому угодны.

На здоровье она никогда не жаловалась, однако последнее время стала плохо спать по ночам.

Ложась в постель, сразу же засыпала, но уже через час просыпалась и лежала до самого утра, сна ни в одном глазу.

Как-то пошла в районную поликлинику, попросила у доктора снотворных капель. Доктор выписал, но толку никакого: сна как не было, и так из ночи в ночь.

И она уже постепенно привыкла не спать и, лежа в постели, от нечего делать начинала перебирать в памяти свою жизнь, которая временами казалась ей то необыкновенно долгой, а то совсем коротенькой, оглянуться не успела, как состарилась...

Вспоминался ей бывший муж, веселый и красивый, не дурак выпить, бабий угодник. Смотрел на нее смеющимися, серыми в черных ресницах, глазами, улыбался, на щеке появлялась ямочка...

«И чего в нем такого было, что бабы за ним гонялись? — думала Пастухова.— Чем он их привечал?»

Впрочем, она знала, что́ в нем было такого, но сама перед собой хитрила, не признавалась, почему он нравился бабам.

Жить ей с ним было тягостно. Он часто приходил поздно, выпивши, виновато поглядывал на нее и неуклюже, путано начинал врать о том, что вот так получилось, зашел к приятелю, засиделся, не заметил, как время прошло...

Он говорил, не в силах погасить блеск в глазах, и она понимала, что он врет, отворачивалась от него, молчала.

Она умела молчать сколько угодно, хоть целый месяц, а он не мог выдержать этого ее каменного молчания, приставал к ней:

— Что с тобой, Полина? Почему ты такая?

Но она все молчала, и он опять приходил поздно, и снова врал, и красивые глаза его ярко блестели.

Она ни с кем не делилась, никому не жаловалась, с одной лишь Настей поделилась, со старинной подругой, старинной и единственной, с которой всю молодость провела на одной и той же улице — на Шаболовке.

Настя сказала тогда:

— Да плюнь на него, не смылится...

Настя была полной, розовощекой, о ней говорили «вальяжная». Яркие губы полуоткрыты, брови темные, куда темнее волос, шея белая, сдобная, возле ключицы родинка.

Пастухова всю жизнь завидовала Насте. Любила Настю, переживала за нее, если с ней что случалось, но не могла побороть своей зависти.

А завидовать было чему. Первым делом — красивая, когда приоденется, расчешет и уберет густые, ржаво-коричневые волосы,— глаз не отвести.

Потом, муж попался хороший, покладистый. Настино слово для него закон.

А самое главное — Настин сын, Петя. Все кругом считали, второго такого мальчика не сыскать. Всем взял — и умом, и характером, и лицом, в школе учился на одни пятерки, а окончил школу — поступил в летное училище, стал летчиком.

Что только не делала Пастухова, чтобы родить! Даже однажды, по Настиному совету, Настя и адрес для нее раздобыла, отправилась к какой-то бабке, отвалила этой самой бабке целых двадцать пять рублей старыми деньгами, два месяца пила настой из трав, сколько порошков да пилюль сглотала.

Ничего не помогло.

Настя утешала ее:

— Без детей спокойнее...

Но Пастухова знала, это так, одни только слова, ничего больше. Смотрела на Петю, удивительно схожего с Настей чистым, ясноглазым лицом, и сердце ее полнилось горькой завистью.

А в войну Петя погиб. Он летал на тяжелых бомбардировщиках, в самый Берлин летал, и осенью сорок второго пришла Насте похоронка.

Пастухова поехала тогда навестить Настю — и не узнала ее.

Опухшая, с нечесаными, спутанными волосами, Настя тупо смотрела на разложенные перед ней Петины фотокарточки, от самой первой, где он, двухмесячный, лежит на животе, голым задиком кверху, до последней, снятой весною, в летной форме, фуражка набок.

Пастухова села рядом с Настей, оглядела Петины фотокарточки и вдруг завыла в голос, раскачиваясь и стуча кулаком по тощей груди.

А Настю словно кто сглазил, одно несчастье за другим.

Уже в конце войны пришла вторая похоронка — на мужа.

Вот тогда Настя впервые призналась подруге:

— Хорошо тебе, муж-то под боком...

— Да, мне позавидуешь,— не без усмешки над собой сказала Пастухова, потому что, хотя и шли годы, а муж все не менялся, как был, так и остался гуленой и бабником.

Всю войну он работал мастером на камвольном комбинате, у него была бронь, и случалось, по целому месяцу не являлся домой, жил на казарменном положении.

Под это дело он легко подстраивал свои, как выражалась Пас-

тухова, «шашни и страшни», и она догадывалась обо всем, но ничего не могла изменить.

И оставалось одно, испытанное, давнее,— молчать.

А потом, уже когда война кончилась, добрые люди донесли, она не поверила — он спутался с Настей.

Настя была все еще хороша собой, постепенно стала отходить от своего горя, снова начала наряжаться, мазать брови и губы, и Пастухова дивилась:

«Вроде мы одногодки, а Настя с виду куда как моложе!»

На этот раз она не смолчала, решила выследить, своими глазами увидеть.

И выследила. Терпеливо дождалась, пока заперли они дверь и занавесили окно, а потом ринулась с заранее припасенным железным ломиком, сбила дверь с петель.

Должно быть, никогда не забыть Настиных безумных глаз, белой шеи, на которой чернела знакомая родинка.

Настя плакала, закрыв лицо руками, густые, уже сквозившие сединой волосы, упали на ее голые плечи, а муж только глядел ошеломленно на Пастухову, будто впервые увидел.

Пастухова хотела было в кровь избить Настю, но почему-то передумала. Почему, теперь и не вспомнить.

Не глядя на мужа, сказала:

— Все. Домой не приходи, выгоню...

И ушла. В коридоре собрались соседи, смеялись, кричали на разные голоса, Пастухова как во сне прошла по коридору, перед ней расступились, она вышла на улицу, остановилась, перевела дыхание, потом побежала, словно кто за ней гнался.

Так она и не видела с той поры ни мужа, ни Насти. Стороной узнала, муж не остался с Настей, у него про запас другие были, помоложе, вскоре он завербовался и уехал куда-то на Север. А Настя осталась жить там же, где и жила.

* * *

Под Новый год Пастухова сменила свою комнату. Получилось это почти неожиданно для нее самой.

Стояла на улице за дешевыми яичками, подошла ее очередь, яички, как назло, кончились.

— А ну погляди,— попросила Пастухова продавщицу,— может, хотя бы десяток наберется?

Продавщица, молодая, крепкотелая, в белом халате, туго натянутом на зимнее пальто, пересчитывала рублевые бумажки не гнущимися с мороза пальцами.

Не поднимая головы, бросила:

— Чего искать, если нету? Приходите завтра...

— Завтра,— сердито повторила Пастухова,— ты меня завтраками не корми, мне работать надо, а не очереди выстаивать...

Продавщица подняла голову, усмехнулась.

— Работать? Да тебе, бабка, внуков впору нянчить, какая у тебя еще работа?

Она, разумеется, не знала, что такого говорить Пастуховой нельзя.

Пастухова поставила для удобства кошелку на тротуар, сдвинула платок на затылок — и пошла-поехала поносить продавщицу на чем свет стоит.

В этом деле она не знала себе равных. Слова вылетали из ее рта, одно другого язвительней и хлеще, и чего только она не припомнила продавщице, словно наперед изучила всю ее биографию.

И спекулянтка она, и воровка, и шлюха, и, если бы можно было, то надлежало бы выслать ее в такое место, где такие вот спекулянты обретаются, и никогда ни на одну минуту не пускать обратно, в Москву.

Продавщица обалдело воззрилась на нее, как бы разом лишившись голоса. Собралась толпа. А Пастухова все кричала, позабыв обо всем на свете, и опомнилась лишь тогда, когда милиционер взял ее за руку и приказал следовать за собой.

В этот же самый миг продавщица, зверски обруганная Пастуховой, вновь обрела дар слова.

Скорее удивленно, чем зло, сказала:

— Ну и бабка! Должно, одна такая на всю столицу!

— Да уж не тебе чета,— огрызнулась Пастухова, которую милиционер между тем пытался оттащить в сторону.

— Ишь ты,— передразнила ее продавщица.— А ты бы все-таки, прежде чем поддувало свое раскрыть, подумала бы да поняла, что я тоже человек!

— Человек! — презрительно бросила через плечо Пастухова.

— Да, человек,— внезапно со слезами в голосе воскликнула продавщица.— Если хочешь знать, есть у меня десяток, да, есть, для себя припасла, не скрою, вот сейчас повезу его через весь город, на Шаболовку, потому как, кроме меня, кому еще мои дети нужны, кто о них душой болеет?

И еще что-то кричала она вслед Пастуховой, все более распаляясь от собственных слов, но Пастухова уже не могла ей ничего ответить, потому что милиционер крепко держал ее под руку и заставлял идти вровень с ним довольно быстрым шагом.

Дорогой Пастухова окончательно пришла в себя, а когда поняла, что к чему, непритворно ужаснулась.

Стало быть, сейчас ее приведут в отделение милиции, допросят, составят протокол, оштрафуют и, что самое страшное, дадут, само собой, знать на работу.

Она представила себе холеное, вежливо-брезгливое лицо директора музея, когда он прочитает протокол, и ноги ее сразу же стали ватными, словно вся сила ушла из них.

Она остановилась, и милиционер остановился тоже.

— Плохо мне,— прошептала Пастухова,— вроде умираю...

— Ну-ну,— сказал милиционер. Он казался не старше тридцати лет, в милиции работал недавно, и сердце у него было еще неискушенное, жалостливое.

— Умираю,— повторила старуха, прислонившись к стене дома. Исподлобья, зорко глянула на милиционера.

— До милиции не дойду, так и знай...

Милиционер взял ее под руку.

— Да что там милиция,— участливо произнес он,— может, в больницу поедем?

— Нет,— слабым голосом сказала она,— домой меня отведи, я тут рядом живу...

Он послушался, привел ее домой, сам открыл дверь, снял с нее пальто, стянул с ног валенки и уложил на кровать.

— Как же так можно, мамаша? — с укоризной спросил милиционер, глядя на ее скорбное лицо.— Здоровье у вас плохое, а вы себя еще на морозе надрываете...

Пастухова только охала в ответ и заводила глаза, делая вид, что засыпает. Милиционер постоял возле нее еще немного и ушел.

А Пастухова, переждав с десяток минут, вскочила с постели, проворно оделась и побежала обратно, на улицу.

Продавщица, очевидно, все еще никак не могла успокоиться, стояла на том же месте, оживленно переговариваясь с соседом, продавцом кислой капусты.

Завидев Пастухову, она неожиданно замолчала, как бы не веря своим глазам.

— Ладно,— миролюбиво произнесла Пастухова, близко подойдя к ней,— поспорили — и довольно.

— Поспорили?! — продавщица обернулась к соседу.— Это называется «поспорили», она меня всю как есть обгавкала...

— Хватит,— уже в сердцах сказала Пастухова.— Я к тебе по делу. Ты что, и вправду на Шаболовке живешь?

— А тебе что? — огрызнулась продавщица.

— Значит, надо. Говори, на Шаболовке?

— Ну, на Шаболовке. Ну и что?

— А работать сюда ездишь?

— Нет, в Большой театр, у правой колонны, третья слева...

— Я тебя дело спрашиваю,— сказала Пастухова, чувствуя, что еще немного — и она снова взорвется.— Говори, здесь работаешь?

— Ну, здесь, разве не видишь?

— А поближе к дому не могла устроиться?

— Значит, не могла.

— А на Шаболовке у тебя квартира или комната?

— Нет, вы только подумайте,— сказала продавщица, глядя на продавца капусты. — Тоже мне отдел кадров, анкету ей заполняй!

— Я тебя дело спрашиваю,— все еще спокойно повторила Пастухова.

Продавщица хотела было высказать ей в лицо все то, что она о ней думала, но вместо того ответила:

— Комната, двенадцать метров.

— А дом номер какой?

— Пятнадцать.

— Пятнадцать?

— Да, пятнадцать. А что, разве знаешь?

Как не знать, если в доме девять, по соседству, Пастухова родилась и прожила долгие годы. Ей даже сразу, словно только вчера его видела, вспомнился дом пятнадцать, неказистый с виду, но старинной прочной кладки, стены никак не меньше чем метра полтора-два, двор с железными воротами.

Она посмотрела на пылавшее от мороза и еще не забытого гнева лицо продавщицы, спросила:

— Меняться хочешь?

— Как — меняться?

— А так, комнатами. У меня комната неплохая, чуть поменьше твоей, зато тебе рядом, я ведь здесь неподалеку живу...

Продавщица покосилась на нее, сомневаясь, в своем ли уме старуха. Но Пастухова сохраняла серьезность, ни одна смешинка не блеснула в строгих ее глазах.

А тут еще вмешался продавец капусты.

— О чем думаешь? — спросил он.— Если поменяешься, через весь город мотаться не будешь...

— Я, в общем, согласна,— сказала продавщица.— Почему бы и нет? Ну, а тебе-то зачем меняться?

— А уж это мое дело,— важно ответила Пастухова.— Тебя как зовут-то? Машей? А меня Полина Саввишна. Будем знакомы.

— Уж познакомились, — засмеялась Маша, обладавшая неподдельным чувством юмора.

Так и случилось, что на следующий же день Пастухова поехала на свою родную Шаболовку смотреть комнату продавщицы Маши.

А еще спустя неделю они уже начали совместную работу: добывать нужные документы для взаимного обмена жилплощади.

Комната в доме пятнадцать ничем особо завидным не отличалась, самая обычная, двенадцать метров без малого, квартира тоже населенная, и отопление печное.

Но тайное желание давно уже владело Пастуховой — перебраться на Шаболовку, улицу своей юности, дожить там остаток лет. И вдруг вот так вот нежданно-негаданно этому ее желанию суждено было сбыться.

И она уже благословляла в душе все вместе — очередь за яичками, которые так скоро кончились, дерзкую продавщицу Машу и свой крутой нрав, не дающий никому спуска...

На этот раз она не изменила своего решения, и день в день, как и было договорено, переехала на Шаболовку, в дом номер пятнадцать, а продавщица Маша, с двумя детьми пяти и семи лет, переехала к ней.

* * *

Жильцы новой квартиры, по словам Маши, были все люди положительные, солидные, кроме разве Платона Петровича, мозолиста из Центральных бань.

Маша честно призналась, что Платон Петрович, случается, зашибает, но втихаря, никого не беспокоя, так что ни разу ни в одном вытрезвителе даже не побывал.

— Втихаря,— это другое дело,— разрешила Пастухова.— Со всяким бывает...

Маша не солгала. Новые соседи в общем-то оказались людьми вежливыми, спокойными. Правда, с Платоном Петровичем на первых же порах у Пастуховой произошло столкновение: небольшое, негромкое, но все-таки...

Пастухова поставила на кухне свой стол, накрыла его клеенкой, расставила на полочке, над столом, свои кастрюли и сковородки.

В эту самую минуту на кухню вошел маленький, сухощавый мужчина, лысый, со сморщенным, обезьяньим личиком, явно выпивши.

— С прибытием,— несколько громче, чем следовало бы, сказал он.

Пастухова догадалась, это и есть тот самый Платон Петрович.

— Спасибо,— холодно ответила она.

— Ваш столик рядом с моим,— продолжал Платон Петрович.

— Ну и что с того? — спросила Пастухова.

Он не ответил, оглядел ее, сощурив глаза.

— С праздником вас,— неожиданно произнес он.

Пастухова опешила. С каким это таким праздником?

А он, значительно помолчав, поклонился ей:

— С праздником, дорогая моя!

— Никакая я вам не дорогая,— отрезала Пастухова, но он не обратил никакого внимания на ее тон.

— С праздником потому, что в ваши годы — каждый день праздник!

Пастухова не на шутку разозлилась — страсть как не любила решительно никаких намеков на свой возраст. Хотела было отчитать его так, как полагается, но передумала. Не стоит заводить долгую свару в первый же день.

Молча отвернулась от него, пошла к себе в комнату, а Платон Петрович весело кричал ей вслед:

— С праздником, дорогая вы моя, с великим праздником!

«Плевать на него,— решила Пастухова.— Должно, чокнутый или перехватил лишку...»

И, чтобы окончательно успокоиться, стала прибивать к стене картинки-репродукции, которые однажды в получку накупила в киоске музея.

На следующее утро Пастухова отправилась в булочную.

Булочная помещалась все там же, на углу, в двухэтажном, красного цвета особнячке.

Купив полбуханки заварного и булку, Пастухова направилась домой. Она нарочно сделала крюк, чтобы пройти мимо Настиного дома.

Самой от себя не хотелось таиться, она желала этой встречи. Потому и замедлила шаги.

Все казалось сейчас, в эту самую минуту встретится ей рослая, белокожая Настя.

Но Насти не было видно, и Пастухова, заскучав, поспешила домой. Надо было повесить на окно занавеску, вымыть пол, расставить в буфете посуду и сварить какой-никакой обед.

Кроме того, прибавилась еще одна забота: принести из сарая дров, протопить печку.

Она не жалела о центральном отоплении. Напротив того, сидя перед печкой, в которой уютно трещали березовые чурки (продавщица Маша оставила ей свои два кубометра), она думала о том, что комната в общем-то хорошая, сама квартира куда тише, спокойнее, чем прошлая, а печка добротная, нагревается сразу.

Глядя на щедро пылавший огонь, она вспоминала о тех, кого

уже не придется больше увидеть, о Пете, погибшем на фронте, о Паше, его отце, и, конечно, о Насте.

Нет, с Настей все обстояло совсем не так. Настя была жива, это Пастухова знала, и теперь, когда они снова стали соседями, она рассчитывала, что не сегодня-завтра повстречается с ней.

Так и вышло. Через несколько дней, выходя из метро, она увидела Настю, стоявшую около перехода.

Пастухова сразу узнала ее, хотя теперешняя Настя решительно ничем не была похожа на ту, прежнюю, красавицу.

Пастухова подошла к толстой, широколицей старухе с заиндевевшими бровями, тронула ее за рукав поношенного пальто.

— Вот и свиделись, Настя...

Сколько раз представляла она себе эту встречу, сколько раз мысленно обращалась к бывшей подруге, то с усмешкой, то спокойно, без всякого ехидства и даже ласково.

Но все получилось обыкновенно, ничем не примечательно. Настя обернулась, вгляделась и вдруг узнала. Губы ее жалостно дрогнули. Она даже шагнула было в сторону, но Пастухова крепко держала ее за рукав.

— Не бойся,— сказала она, наслаждаясь собственным великодушием.— Чего там...

Они вместе прошли по переходу на другую сторону. Настя шла медленно, задыхалась, часто останавливалась.

— Что, болеешь? — спросила Пастухова.

— Астма у меня,— отрывисто ответила Настя.

Они вышли на Шаболовку. Было холодно, снег хрустел под ногами, морозный густой туман клубился над крышами домов.

— Одна живешь? — спросила Пастухова, но Настя, задыхаясь и выпучив глаза, махнула рукой. Потом, дескать, не сейчас...

Пастухова проводила ее до самого дома.

— Я теперь в дом пятнадцать переехала,— сказала она.— Опять мы с тобой соседствуем...

Настя ответила:

— Вот оно что...

То ли ей тяжело было говорить на морозе, то ли она стеснялась, боялась прежней своей подруги, но так она больше ничего и не сказала, смотрела в сторону, избегая встретиться глазами с Пастуховой.

А та вдруг решила:

— Приходи ко мне завтра вечером.

— Зачем? — проговорила Настя.

— Приходи,— упорно повторила Пастухова.— Новоселье справим, как ни говори, опять рядышком живем...

Настя молчала, думая о чем-то. Потом спросила:

— Кто еще будет?

— Кто тебе нужен? Я да ты, вот и вся компания. Придешь?

Настя опять помедлила с ответом:

— Приду.

— Квартира четыре, на втором этаже,— сказала Пастухова.— Буду ждать.

Настя кивнула и скрылась в подъезде.

* * *

Пришла она, как и обещала, вечером. Вошла в комнату, минут пять молчала, жадно глотая ртом воздух. Потом сняла пальто, размотала платок.

— Едва добралась до тебя...

— На второй-то этаж? — удивилась Пастухова.

Настя слабо улыбнулась.

— Мне что на второй, что на пятый, все едино. Дышать нечем.

Пастухова усадила ее на диван, покрытый крахмальной простыней. Подвинула к дивану стол, на столе — всякие яства да закуски: колбаса любительская и докторская, винегрет, моченые помидоры, маринованные грибы, говяжий студень, а венцом всему — кулебяка с капустой, розовая и пышная.

Пастухова поставила на стол пол-литра белого, разлила в два лафитничка.

— Давай, Настя, за мое новоселье!

Настя отодвинула от себя лафитничек.

— Нет, не могу, здоровье не позволяет.

— А ты пригуби для вида,— посоветовала Пастухова.— Не то я подумаю, ты моему новоселью не очень-то рада.

Настя согласилась, отхлебнула немного.

Пастухова довольно улыбнулась, подвинула к Насте блюдо с кулебякой.

— От кулебяки, надеюсь, не откажешься? Помнится, ты всегда любила с капустой...

От кулебяки Настя не отказалась, и грибов отведала, и студень.

Разрумянилась, сбросила на плечи платок, седые волосы узлом на затылке. Брови до сих пор темные.

— Гляди, Настя,— удивленно заметила Пастухова,— а ты все еще красивая, совсем как картина!

Настя, словно застеснявшись, плотнее запахнула платок и вдруг заплакала.

Пастухова до того растерялась, что налила еще водки, поднес-

ла Насте, но та решительно замотала головой, и Пастухова сама вместо нее отпила, закусила помидором, потом спросила:

— С чего это ты?

Настя вытерла глаза. Сидела, опершись щекой о ладонь, старая, сырая, но все еще глаз от нее не отвести, задыхается, а румянец во всю щеку.

— Ты на меня, Полина, наверно, серчаешь,— сказала она.

Пастухова несильно стукнула кулаком по столу.

— Больше не будем об этом.

— Нет, будем,— сказала Настя.— Я ведь ничего не позабыла, все помню...

— А я забыла,— сказала Пастухова.

— Врешь,— сказала Настя.— Не забыла ты, такое не скоро позабудешь...

Пастухова покачала головой и приготовилась слушать.

А Настя внезапно согласилась с нею:

— Ладно, не хочешь — не станем.

— Нет, почему же? — сказала Пастухова.— Выкладывай...

— Конечно, сволочь я,— сказала Настя.— Много у меня грехов накопилось, а этот, должно, самый что ни на есть большой.

— Это точно, большой,— повторила Пастухова.— Потому как дружили мы с тобой, можно сказать, всю нашу жизнь.

Оборвала себя. Вдруг снова, как наяву, увидела Настины безумные испуганные глаза, голые ее плечи, по которым рассыпались ржаво-коричневые волосы, и его, мужа, растерянного, жалкого.

— Слушай,— спросила она,— а ты про него что-нибудь слышала?

— Про кого?

Пастухова замялась.

— Ну, про этого, твоего ли, моего ли, даже не знаю, как и назвать...

— А-а,— сказала Настя,— про Яшку-то? Нет, ничего не знаю, как уехал тогда, так словно в воду канул...

— И я не знаю, может, его и в живых-то нету...

Пастухова встала из-за стола, подошла к печке, прижалась к ней спиной.

— Красивый он был...

— Красивый,— согласилась Настя.

— Бывало, выйдешь с ним на улицу, так, веришь ли, какая бы баба ни встретилась, ни одна не пропустит, глянет на него.

— Ну, а он что? — спросила Настя.

Пастухова коротко засмеялась.

— А ему что? Будто сама не знаешь, ему лишь бы баба была, новая да свежая...

Настя помолчала, потом спросила:

— Ты только не обижайся, Полина, вот, если бы он тебе теперь повстречался, как бы ты с ним?

— Как? — переспросила Пастухова, на минуту представила себе: открывается дверь, входит он, Яшка. Глядит на нее молча, глаза блестят, на щеке ямочка.

— Я бы его первым делом сюда усадила, с тобой рядышком.

— Да ну?! — удивилась Настя.— И ни о чем бы не спросила?

— О чем же спрашивать?

— Ну, хорошо. А простила бы?

Пастухова подумала, сказала:

— Что ж, столько лет прошло...

Взглянула на печальное Настино лицо, на старые, в морщинах и узлах, Настины руки и, удивительное дело, не ощутила в своем сердце ни обиды, ни горечи.

Словно все это было с кем-то другим, а не с нею.

И она сказала искренне, радуясь тому, что нисколько не кривит душой:

— Хватит о нем, Настя. Что было, то сплыло. Я ни на него, ни на тебя зла не держу...

Настины глаза посветлели.

— Тогда налей еще немножечко...

Обе выпили, закусили кулебякой.

— Я тебе фотокарточки принесла,— сказала Настя.

— Какие такие фотокарточки?

Вместо ответа Настя взяла свою хозяйственную сумку, стоявшую возле ее стула, вынула из нее толстую пачку, обернутую в газету. Отодвинула от себя тарелки, чашку с налитым чаем.

— Очки у тебя имеются?

— Без очков покамест управляемся,— горделиво ответила Пастухова.

Легли на стол фотографии, весь угол стола заняли, разные — большие, средние и совсем маленькие, паспортные.

Пастухова глядела на них, не говоря ни слова. Показалось, что все прожитые годы один за другим прошли чередой перед нею, будто повернула она на дорогу, ведущую назад, в прошлое...

Вот она сама, совсем еще молодая, нескладная, в клетчатом вискозном платье стоит возле дерева в Нескучном саду. Улыбается, щурит глаза от солнца. А чему, в сущности, улыбается?

Да ничему. Молодости своей, беззаботности, бездумности...

Вот она вместе с Настей идет по Шаболовке, аккурат мимо булочной. Это их тогда Паша, Настин муж, заснял.

Настя — красивая, пышноволосая, губы сочные, яркие. Она, Пастухова, взглянула на нее, да так и забылась, загляделась. В этот самый миг Паша и щелкнул своим фотоаппаратом.

Пастухова разглядывала карточки, близко поднося к глазам, и видела себя то молодой, то постарше; твердело, становилось все более жестким ее лицо, углублялись складки на лбу, на щеках.

Вот еще одна фотография, они сидят рядом, все трое — она, ее муж и Настя. Они с мужем приехали тогда к Насте, на Шаболовку, в гости.

Стоял уже октябрь, часто моросил дождик, но временами, ни с того ни с сего ненадолго выглядывало солнце.

Сидели они в ту пору во дворике, окружавшем Настин дом, на лавочке. Настя посередине, и еще рядом старуха соседка Прасковья Сергеевна.

Словно чужую, разглядывала Пастухова себя, свои маленькие, глубоко сидящие глаза, стиснутые губы, гладко зачесанные со лба на затылок волосы.

До чего, и в самом деле, нехороша, непривлекательна была она, как разнилась от яркогубой, красивой Насти...

И муж Пастуховой, откинув голову назад, казался таким веселым, уверенным в себе, решительно не подходящим к ней, Пастуховой...

Ей вспомнилось, как начальник цеха, где работал муж, языкастая баба,— как ее звали, позабыла,— не раз, встречаясь с Пастуховой, замечала:

— Нет, не пара вы с Яшкой. Совсем не пара...

Пастухова оторвалась от фотографии.

— А где Петина последняя карточка, с фронта?

— С фронта он нам ничего не прислал, только вот эта осталась, перед самой войной снялся...

Настя отыскала Петину довоенную, лицо круглое, чистое, фуражка набок, яркие, как у нее самой, губы улыбаются...

— Вот она.

— Вижу.

Пастухова долго, пытливо разглядывала Петино лицо, потом аккуратно сложила все фотографии, словно карты в колоду.

Взглянула на Настю, неожиданно для себя сказала:

— А я тебе раньше завидовала...

— Знаю,— спокойно согласилась Настя.

— Откуда ты знаешь?

— А ты разве скрывала, что завидуешь?

Пастухова подумала немного:

— А что, нехорошо, когда завидуют?

— Чего ж хорошего...

Настя взяла кусочек кулебяки, отломила корочку.

— На пенсию не собираешься?

— Нет,— отрезала Пастухова.— Я еще в своей силе, зачем мне пенсия? Меня знаешь как на работе ценят? Да ты была ли когда в нашем музее?

— Не помню,— ответила Настя, но Пастухова сразу поняла: не довелось Насте побывать в музее.

— Я тебя поведу,— сказала уверенно.— Я тебе все как есть покажу и объясню. Там у нас такие ценности хранятся, что ни за какие деньги во всем мире не купишь!

— Надо думать,— вяло согласилась Настя.

Но Пастухова уже не слушала ее. Привычное возбуждение, когда речь заходила о музее, о несметных сокровищах, которые хранились там, охватило ее.

— Я тебе Давида покажу, ты такого мужика, скажу по чести, отродясь не видела!

Настя усмехнулась:

— Мне это теперь ни к чему...

— Глупая ты, Настя,— сказала Пастухова.— Даже жалко глядеть на тебя, до того глупая...

— Чем же это я глупая? — необидчиво спросила Настя.

— Да всем. Что я тебе, этого самого Давида сватаю, что ли?

— Ладно,— сказала Настя.— Так и быть, пойдем поглядим на твоего Давида.

Помолчали немного. Потом Пастухова сказала:

— А я теперь очень даже довольна, что никогда не была красивой.

— Почему так?

— Была бы красивой, самой бы себе завидовала, какая была и какая стала...

— Будет тебе...

— Почему, будет? — спросила Пастухова.— Взять тебя, к примеру, помнишь, какая была?

— Помню.

— А какая стала, видишь?

— Как не видеть.

— То-то и оно. Выходит, мы теперь с тобой сравнялись.

Настя кивнула.

— Выходит, что так.

Настина покорность окончательно растопила сердце Пастуховой.

— Нам с тобой одно остается...— проникновенно начала она.— Ты одна и я одна, стало быть, надо нам друг дружки держаться.

— Ну что ж,— сказала Настя.— Будем держаться.

— Ты приходи ко мне, и я к тебе приду, как только выберу часок посвободней, потому что, ты же знаешь, я человек занятой,— продолжала Пастухова.— Мы с тобой и в музей к нам сходим, и в парк, и в кино.

— Я в кино только в первом ряду сидеть могу,— сказала Настя.— У меня глаза стали такие ..

— Ладно,— согласилась Пастухова.— В первом так в первом, мне все равно.

Ради Насти пришлось заранее принести жертву: она была дальнозоркой, в кино брала билет только в последний ряд.

Но так непривычно, отрадно было сознавать себя доброй, все простившей, что она не знала, что бы еще такое хорошее сделать для Насти.

— Хочешь,— предложила она,— переезжай-ка ко мне, заживем с тобой вместе...

— Зачем? — спросила Настя.— Мы и так живем рядышком.

Но Пастухова уже не отставала. Неожиданно возникшая мысль, чем дольше она в нее вдумывалась, тем больше казалась доступной и желанной.

— Мы с тобой сменялись бы, ты свою комнату и я свою, целую квартиру получили бы, я в этом деле собаку съела, все понимаю, что к чему.

— Нет,— сказала Настя.— Как жили, так и будем жить, каждая у себя.

— Не хочешь? — спросила Пастухова.

— Так лучше,— ответила Настя.

— Говори — не хочешь?

— Если у каждой свой угол, это лучше,— сказала Настя.

Пастухова подумала и кивнула головой.

— Ну хорошо, а приходить ко мне будешь?

— Конечно, буду.

— И я к тебе буду...

Пастухова снова взяла в руки карточки, принесенные Настей. Смотрела на них, разглядывала одну за другой, лицо ее сморщилось, по щеке поползла слеза.

Где же они, где все те, кого когда-то снимал Паша?

Паша погиб, Петя сгорел вместе со своим самолетом, и начальник цеха, того, где работал муж Пастуховой, давно уже умерла

легкой смертью: шла на работу, не дошла до проходной, упала, так, не приходя в сознание, скончалась. И Прасковья Сергеевна, Настина соседка, отжила свой век в больнице, сказывают, рак у нее был, и муж Пастуховой, весельчак, бабий угодник, жив ли он, или тоже отдал концы?

А ведь все они чего-то желали, о чем-то думали, мучились, радовались, горевали, и вот нет никого, только они вдвоем с Настей остались, они вдвоем...

— Я тебе карточку Петину дам,— сказала Настя.— Если хочешь, выбирай любую...

— Насовсем? — спросила Пастухова.

— А как же.

Пастухова долго разглядывала Петины карточки, наконец выбрала ту, самую последнюю, довоенную.

— Вот эту, можно?

— Можно,— сказала Настя.

— Я сюда повешу, над кроватью — сказала Пастухова и подумала о том, что теперь, кто бы ни зашел, каждый решит, это ее, Пастуховой, родной сын.

Она наполнила свой и Настин лафитнички.

— Давай выпьем,— сказала тихо.— Помянем Петю...

Они выпили, не чокаясь, глядя на Петину фотографию, лежавшую на столе перед ними.

Помолчали, подумали.

— Убери водку,— посоветовала Настя.— На сегодня хватит.

— Даже предостаточно,— сказала Пастухова и поставила бутылку обратно в буфет.— Еще на разок нам с тобой останется...

Кто-то постучал в дверь.

— К тебе,— сказала Настя.

— Это еще кто? — удивилась Пастухова.

Мелькнула невозможная, сумасшедшая мысль, вот и сбылось то, о чем давеча говорили,— Яшка явился!

— Открыто,— сказала она, с надеждой глядя на дверь.

Вошел Платон Петрович. Остановился на пороге, мутные глаза часто мигают, рот до ушей.

— С праздником,— произнес он свое, любимое.— Вас обеих с великим праздником!

Настя недоуменно взглянула на него.

Пастухова внезапно проговорила:

— Благодарствуйте, прошу к столу, не побрезгуйте...

Он послушался, сел за стол рядом с хозяйкой.

— Выпьете стопочку за мое новоселье? — спросила Пастухова.

Он многозначительно прикрыл левый глаз.

— Со всем моим удовольствием, да у вас же ничего нет...

— Найдется,— сказала Пастухова. Открыла буфет, достала бутылку и стопку граненого стекла.

Платон Петрович с вожделением следил за тем, как она наливает водку, потом залпом опрокинул всю стопку в рот.

Блаженно откинул назад голову, оглядывая комнату.

— Хорошо у вас, чисто...

Пастухова горделиво вздернула подбородок.

— А что, у Маши разве грязно было?

— Не так чтобы очень, но у вас получше, наряднее...

Он встал, подошел к стене, разглядывая открытки.

— Повсюду первоисточники у вас приколотые...

— Чего? — не поняла Пастухова.

— Эти, как их, картины...

— Открытки это,— внушительно отчеканила Пастухова.— А сами картины в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, на Волхонке, слыхали про такой?

— Как же, как же,— неопределенно ответил Платон Петрович, и, должно быть, чтобы перевести разговор, произнес заученно:

— За ваш праздник, потому как...

— Знаем,— оборвала его Пастухова.

Настя все еще никак не могла уяснить себе, что это все означает.

— Кто это? — шепнула она Пастуховой.

— Сосед,— ответила Пастухова и обратилась к Платону Петровичу: — Вы нас поздравляете, а мы вас хотим поздравить.

— С чем же это? — спросил он.

— С праздником.

— С каким же?

— Да все с тем же, с каким вы нас поздравляете.

Платон Петрович заметно обиделся.

— А я-то при чем? Мне пятьдесят шесть в марте стукнет.

— Все одно,— задушевно сказала Пастухова.— Что вы, что мы — одинаково с ярмарки едем, не на ярмарку, а с нее, с голубушки...

Платон Петрович несколько мгновений молча глядел на Пастухову, словно пораженный ее умом и пониманием жизни.

Потом, будто бы забывшись, налил себе водки в стопку, торжественно провозгласил:

— В таком случае, за ваше уважаемое здоровье и за мое, одним махом!

Пастухова кивнула, переглянулась с Настей и на всякий случай отодвинула от него бутылку...

ГДЕ ЖИВЕТ ГОЛУБОЙ ЛЕБЕДЬ!

1

В конце лета Борис Карамышев, шофер такси, взял отпуск и поехал в Рязанскую область, к сестре покойной жены, Елене Васильевне. Добираться было нетрудно: до Рязани поездом, а оттуда автобусом, который довез почти до самой деревни, носившей приманчивое название «Ягодка».

Борис поехал вместе с сыном, тринадцатилетним Васей, который не пожелал оставаться в пионерском лагере на третью очередь, а приехал в город и ждал отпуска отца.

Встретили их отменно. В доме Елены Васильевны собралось много знакомых.

Сидели за длинным столом, выпивали, расспрашивали Бориса о его нынешнем житье-бытье и, само собой, говорили о Дусе, покойной жене.

Пили не чокаясь, потому что есть такое правило: когда поминают покойника, не положено чокаться.

Женщины смотрели на Васю, вздыхали.

— Вылитая Дуся...

Иные прослезились, но единственная кровная родня, Елена Васильевна, и слезинки не пролила. Строгая, неговорливая, она подносила все новые блюда, ставила на стол пироги, сало, моченые помидоры, маринованные грибы, выносила пустые бутылки, а на их место ставила полные.

Изредка проводила жесткой ладонью по голове племянника. Он оборачивался к ней, неулыбчивые глаза ее бегло взглядывали на него, она придвигала поближе к нему тарелку с пирогом, сама наливала в рюмку сладкого вина.

Поздно вечером, когда все разошлись, она быстро убралась в горнице, постелила Борису и Васе на сеновале — обоим захотелось спать только на сеновале, и ушла в дом.

А утром пришла на сеновал, увидела, как Борис закурил первую, утреннюю, сигарету, коротко приказала:

— Если охота курить, выйди наружу.

Села с ним рядом на крыльце, обхватила руками колени.

Борис курил, провожая глазами ласточек, поминутно проносившихся низко, почти над самой его головой: на крыше дома было их гнездо, и они летали друг за другом, кормили птенцов.

Утро было тихое, солнечное, но не жаркое. Уже по-осеннему дымились дальние холмы, хорошо видные с крыльца, и лес, окружавший село, казался издали не темным, плотным до черноты, как летом, а дробно коричневым, пронизанным кое-где золотистыми и красноватыми бликами: это желтели первым осенним цветом медленно увядающие листья.

Издалека, может быть, с того берега, доносилось рокотанье трактора, время от времени трактор умолкал.

— Зимой здесь, наверно, снегу видимо-невидимо,— сказал Борис.

— Конечно,— согласилась Елена Васильевна.— На то она и зима.

Помолчали. Потом Елена Васильевна спросила:

— Вася о матери вспоминает?

— Вспоминает, как не вспоминать...

Дуся умерла весной, родами. Днем позже скончалась и новорожденная девочка, которой не успели даже дать имя.

Борис давно хотел дочку. Он представлял себе, как она вырастет, будет румяной, темнобровой, и Вася будет заботиться о сестренке, и любить ее, потому что в семье всегда любят маленьких.

— Ну, а сам-то как справляешься? — спросила Елена Васильевна.

— Ничего,— ответил он.— Вроде справляюсь.

Она подумала, что он не хочет жаловаться, потому и не говорит всей правды. Впрочем, она и без того понимала, что ему трудно. Остался мужик один, да еще с сыном, все на нем — и купить, и сготовить, и постирать, и в доме прибраться...

Искоса оглядела его. Ростом он не вышел, был немного сутулый, ранняя седина уже сквозила в негустых волосах, хотя сравнялся ему всего лишь тридцать восьмой год. И лицом он казался старше своих лет, худые щеки втянуты, возле глаз морщины.

— Поправиться тебе первым делом надо,— сказала Елена Васильевна,— больно тощий ты, может, болеешь чем?

— Нет, ничем не болею,— ответил Борис.

Он уже привык к тому, что многие спрашивали его о здоровье, в конце концов не его вина, что с детства был низкорослым, худым, что бы ни ел, никогда не поправлялся, на самом же деле чувствовал себя здоровым и ни на какую хворь не жаловался.

А она подумала немного и вдруг сказала:

— Надо бы тебе жениться.

— Зачем? — спросил Борис.

— Надо,— строго повторила Елена Васильевна.— И тебе будет легче, и Васе это в самый первый черед нужно...

— Матери никто не заменит,— сказал Борис.

Она кивнула.

— Так-то так, а все-таки...

Оборвала себя. За их спиной послышались шаги. Щурясь от солнца и зевая, Вася шел по двору, босой, в трусах, мохнатое полотенце через плечо.

— Я — купаться, тетя Лена...

— Вода холодная,— сказал Борис.— Стоит ли?

— Стоит,— на ходу бросил Вася.

— Самовитый парень,— сказала Елена Васильевна, и было непонятно, хвалит она его или порицает.

— Да, он такой...

— В мать пошел...

Елена Васильевна помнила: Дуся совсем еще маленькая была, а характер — железо. Бывало, скажет старшей сестре, которую, как принято в деревне, звала нянькой:

— Нянька, я так хочу,— и делала так, как хотела, и никто не мог с ней справиться.

— Ладно,— Елена Васильевна встала с крыльца.— Пойду завтрак приготовлю...

И, уже входя в дом, обернулась:

— Надо бы тебя подкормить, уж я постараюсь!

2

И постаралась. Четыре раза в день собирала на стол, жарила яичницу на сале, пекла блины, варила яйца, ставила на стол полные кринки парного молока и приказывала:

— Чтобы все выпили, без остатка!

Борис кряхтел, но слушался ее, а Вася до того полюбил парное молоко, что иной раз просил добавки, и она с охотой ставила ему новую кринку.

Муж Елены Васильевны погиб на войне, дети разъехались — дочь жила с семьей на Урале, а сын, монтажник, перекати-поле, что ни год менял местожительство, писал ей письма то из Ташкента, то из Целинограда, то с Дальнего Востока.

Жила она замкнуто, редко куда выходила из дома, но теперь что ни вечер звала Бориса пойти с ней в клуб — на танцы или в кино.

Он соглашался, надевал новый костюм, который справил незадолго до смерти жены, нацеплял галстук и все время сидел рядом с Еленой Васильевной у стены, разглядывал танцующих.

Она спрашивала:

— А сам что же?

— Не умею, да и не люблю танцевать,— отвечал он, она однако настаивала, тогда он приглашал первую попавшуюся девушку и неуклюже кружил ее в вальсе, а Елена Васильевна со своего места пристально следила за ним.

Иногда она созывала к себе соседок. Созывала по своему вкусу, все больше его однолеток, а то и постарше, ставила самовар, угощала чаем с вареньем и каждый раз заводила разговор о том, как тяжело мужчине жить одному, а с сыном и того тяжелее, попробуй, вырасти да воспитай парня без хозяйки!

Гостьи пили чай, деликатно черпая ложечкой варенье, конфузливо улыбались, слушая Елену Васильевну, и старались говорить о чем-либо, не имеющем отношения к семейным делам Бориса.

Когда они уходили, Елена Васильевна допытывалась у Бориса, понравилась ли ему какая-нибудь, но он каждый раз отвечал:

— Да все они, вроде, ничего...

И сколько она ни расспрашивала, отвечал одинаково, и она понимала, ни одна из них не упала ему на сердце, ни с одной не собирается он строить дальнейшую свою жизнь, и так, наверно, и уедет.

Но все случилось иначе.

Однажды Борис с Васей пошли в лес, по грибы. На рассвете густо стлался над домами туман, медленно, как бы нехотя оттаивал под лучами солнца, в лесу остро пахло грибной сыростью, влажным, гниющим мхом, сосновой хвоей.

Грибов было множество, под каждым кустом хоть косой коси.

Борис и Вася брезговали сыроежками и даже подберезовиками и подосиновиками, брали одни белые.

Когда выходили из леса с тяжелыми корзинами, увидели кофейного цвета «Победу», стоявшую на опушке.

За рулем сидела женщина и пыталась завести мотор. Но мотор рокотал с минуту и замолкал.

Исконная шоферская солидарность мгновенно овладела Борисом. Он подошел ближе.

— Что у вас тут?

— Аккумулятор сел,— ответила женщина.

Повела на него круглым, сердитым глазом, спросила:

— А вам что? Или помочь собираетесь?

Борис сказал:

— Что ж, попробую.

Наконец машина завелась.

— И правда, помогли, — сказала женщина спокойно, словно иначе и быть не могло.— Вам куда, в «Ягодку»? Садитесь, подвезу.

Он сел рядом с ней, а Вася — на заднем сиденье.

Она вела машину лихо, щеголяя своей сноровкой.

Была она еще молодая, впрочем, не очень, может быть, немного моложе Бориса, круглолицая, сильно загорелая. Синие глаза казались особенно светлыми на смуглом лице. Профиль — она сидела профилем к Борису — четко очерченный: выпуклый лоб, жадные тонко вырезанные ноздри, подбородок с ямочкой.

Руки у нее были загорелые по локоть, а выше короткие рукава ситцевой блузки открывали молочно-белую, нежную кожу. И шея была тоже белой, в мелкой осыпи веснушек.

— Местные? — спросила она, глядя на дорогу.

— Нет, из Москвы.

— Вот оно что.

Почему-то ему показалось, что она знает, кто он, и спрашивает лишь для видимости.

Так оно и было.

— У Елены остановились?

— Это моя тетя,— сказал Вася.— Сестра мамы.

Она взглянула на Бориса — он еще раз подивился ее светлым, блестящим глазам, сказала:

— Давайте познакомимся: Леля, фамилия Сипаева, отчество необязательно.

Пока доехали до деревни, успела рассказать о себе — работает шофером у директора РТС, живет с отцом, есть у нее дочка по имени Ветка, мужа не имеется, в прошлую субботу исполнилось ей тридцать пять лет, по вечерам ходит иногда в клуб, куда же еще деваться?

Она довезла их до деревни.

— Теперь сами дойдете...

Махнула на прощанье рукой и повернула обратно.

Борис долго смотрел, как облачко пыли догоняет машину, никак не может догнать.

— Хорошо работает,— вслух произнес он.

— А что, она шофер какого класса? Первого? — спросил Вася.

— Может быть, второго.

— А я буду только первого,— сказал Вася,— как ты.

— Я тоже второго,— ответил Борис.

Елена Васильевна встретила их горячими пышками с творогом.

Пока завтракали, она разбирала грибы, мыла, резала на кусочки, похваливая:

— Хоть бы один червивый!

Вася поел и убежал на улицу к ребятам. А Борис сел на крыльцо, закурил, вспоминая о Леле.

Она понравилась ему. Была в ней непринужденность, размашистая удаль, которая ему, тихому и небойкому, казалась особенно привлекательной в других людях.

«Наверно, упрямая, как черт!»,— подумал он, и ему вдруг захотелось на себе испытать ее упрямство и подчиниться ему.

Дуся, его жена, была тоже упрямой, любила все делать по-своему, и он привык уступать ей во всем.

В тот же вечер он первый предложил Елене Васильевне:

— Надо бы в клуб пойти, что ли...

Она спросила с усмешкой:

— Чего это ты? То вроде силком не затянешь, а то самому охота...

Однако накинула платок, и они отправились в клуб.

Был вечер танцев. Еще издали они услышали звуки радиолы. Исполнялся вальс «Дунайские волны».

Вошли в зал, сели на привычное место у стены. Мимо них проносились пары.

Борис смотрел во все глаза, искал Лелю. Ее не было видно, и он заскучал.

— Пойду покурю,— сказал он.

— А как же танцевать? — спросила Елена Васильевна.— Гляди-ка, скоро, должно, танго заиграют.

— Покурю и вернусь.

— Ну, давай, я тебе кого-нибудь выгляжу, кто хорошо танцует,— пообещала она.

Он вышел на улицу, сразу же окунулся в темноту и пустынность ночи.

Дул холодный, уже по-настоящему осенний ветер. Небо было хмурым, беззвездным.

Он сложил ладони коробочкой, прикурил. Свет из окон клуба свободно лился на улицу, освещал ряды домов, скамейки возле заборов, темные деревья, казавшиеся ночью особенно большими.

С реки тянуло неуютной свежестью. Борису представилось, как, должно быть, сыро и гулко сейчас на речном берегу, где-то на середине реки мигают огоньки бакенов, а кругом недобрая, притаившаяся тишина...

Захотелось в дом, в тепло, к людям. Он бросил окурок, подошел к дверям клуба и увидел Лелю.

Он не сразу узнал ее. Она оказалась ниже ростом, чем он думал, узкоплечей, тонкой в талии. Рыжеватые недлинные волосы словно светились в темноте.

— Привет и добрый вечер,— сказала она весело.

Он до того обрадовался, что даже забыл ответить. Вынул новую сигарету, зажег спичку и молча, пока спичка не догорела до конца, смотрел на Лелино смуглое лицо, на рыжеватые волосы, на белую крепкую шею, светлевшую в вырезе платья.

Леля засмеялась.

— Зажгите другую спичку, а то прикурить забыли...

— Я потом,— сказал он и бросил сигарету.

— Я знала, что вы здесь будете,— сказала Леля.

Он осмелел и сказал:

— Я тоже знал, что увижу вас.

Она взяла его под руку.

— Потанцуем?

И вместе с ним вошла в клуб.

Он танцевал с нею все танцы — вальс, танго, фокстрот и снова вальс.

— А ведь я почти не танцевал раньше,— признался Борис.— Это с вами как-то получается.

Потом радиола замолкла. Гармонист, чернявый парень с угрюмым, раз и навсегда на всех и на все обиженным лицом, заиграл местный танец, который неизвестно почему назывался «Елецкого».

— А вот это я не смогу,— заявил Борис, но Леля крепче сжала его руку.

— Сумеете, вот, глядите, как я делаю...

И он стал послушно подражать ее движениям, притопывать, кружить ее...

Ни разу за все это время не взглянул он на Елену Васильевну, лишь теперь, танцуя с Лелей «Елецкого», вдруг поймал ее осуждающий взгляд. Но тут же позабыл о ней и продолжал танцевать, а гармонист играл, казалось, до бесконечности, насупившись и не сводя глаз со своих пальцев.

Объявили перерыв. Народ повалил на улицу.

— Я сейчас,— сказал Борис Леле и подошел к Елене Васильевне.

— Домой пойдешь? — спросила она, глядя куда-то в сторону, мимо него.

— Нет, побуду еще немного.

— Ну, как хочешь.

Она вышла из зала, а он подумал было, что это такое с ней, но не стал доискиваться причины, снова вернулся к Леле.

Домой он пришел поздно, уже пели вторые петухи. Бесшумно разделся, лег рядом с крепко спавшим Васей, но долго не мог заснуть. Все вспоминал о Леле, о ее горячих, сильных руках, которые весь вечер держал в своих ладонях.

И еще вспоминал, как провожал ее, жила она возле самого леса, и долго стоял с нею у ее дома, все никак не хотел уходить и, томясь, боязливо и в то же время настойчиво обнимал Ленины плечи, а она смеялась, отворачивала от него лицо, и волосы ее, растрепавшиеся и жесткие, щекотали губы.

Утром, когда он вышел во двор, Елена Васильевна стояла на крыльце, словно поджидала его.

Он поздоровался с ней. Она спросила:

— Выспался?

— Все нормально.

Глаза ее сощурились, будто она хотела получше разглядеть его.

— Не то ты задумал...

— Что значит — не то?

— А так вот. Баба пустяковая, легкая, не по тебе.

Он даже рассердился. Чего это она суется не в свое дело, но заставил себя произнести мягко:

— Не надо так говорить...

— Почему не надо? Знаю, что говорю,— непримиримо сказала она.— Тебе шлюхи не в масть.

Он ничего не ответил, повернулся, вышел за калитку, а она все стояла на крыльце и смотрела ему вслед, и лицо у нее было неуступчивое, мрачное.

Спустя два дня он с Васей уехал обратно в Москву. Через неделю уехала вслед за ним в Москву и Леля, забрав свою маленькую дочку, которую звала Ветой, чаще — Веткой, а полное имя ее было Виолетта.

3

К праздникам они расписались. Свадьбу Борис решил не устраивать. Как-то неудобно вроде, ведь только весной схоронил жену...

Леля не спорила с ним.

— Как знаешь...

Она вообще оказалась сговорчивой, он думал, что она куда ершистей.

Характер у нее был покладистый, она сумела подойти к Васе, расположить его к себе.

Вася сказал отцу:

— Я тебя, папа, понимаю.

— Что понимаешь?

— Все понимаю. Она неплохая.

Вася вдруг разом, за один год возмужал, вырос и говорил теперь совсем как взрослый, на равных...

Потом добавил:

— Только я ее мамой звать не буду.

Зато Ветка с первых же дней называла Бориса папой. Была она кругленькая, крепкая, с коричневыми волосами и карими, ореховыми глазами.

Борис смотрел, как Вася идет с нею по двору, насмешливо сузив глаза, слушает, что она говорит, и думал, вот и сбылась его мечта. Завелась в семье маленькая дочка, которую все, как оно и положено, любят и балуют.

Леля рассказала Борису: в РТС приехал из Москвы слесарь-механик. Два месяца гулял с ней, потом уехал, не написал ни строчки, хотя и сулился вызвать ее к себе.

Когда Ветке исполнилось три года, Леля собралась, поехала в Москву, отыскала его, но он холодно встретил ее, сразу же отрезал:

— Что было, то было, и больше об этом не надо.

Леля показала ему фотографию Ветки, рассказала, как Ветка всем кругом хвастает:

— Мой папа в космос летает...

Но он даже не улыбнулся, дал Леле восемь рублей, чтобы купила гостинцев дочке, а у себя не оставил и приехать повидаться не обещал.

— Забудь о нем,— сказал Борис.— Забудь, как не было его вовсе.

— Стараюсь,— сказала Леля.

Борис решил удочерить Ветку, дать ей свою фамилию и отчество.

— Хорошо бы квартиру сменить, чтобы никто никогда не сказал ей, что ее настоящий отец...

Леля возразила:

— А что в том такого, если узнает? Не тот отец, кто ребенка заделал, а тот, кто воспитал, на ноги поставил. Пусть знает, какой ты есть!

4

Леля умела радоваться всему, самой малости, сразу чувствовалось, что не была раньше избалована вниманием и заботой.

И потому ему хотелось радовать ее, чем угодно: отрезом на платье ее любимого брусничного цвета, купленным в кредит, нарядной косынкой, домашними польскими туфлями, за которыми выстоял долгую очередь в «Ванде», теплыми рейтузами для Ветки.

Он решил показать ей Москву так, как следует, чтобы навсегда запомнила, какая она, Москва.

Заехал за ней и Веткой, посадил в машину.

— Поехали.

— Куда?

— Еще сам не знаю. Попадаются такие пассажиры, вези, говорят, шеф, куда хочешь...

И вез Лелю с Веткой, куда хотел. В Сокольники, на Ленинские горы, в Измайлово и вместе с Лелей дивился красивым московским улицам, словно сам впервые их видел.

Как-то в выходной поехал с нею и с Веткой на аэровокзал, что на Ленинградском проспекте.

Леля крепко держала Ветку за руку, оглушенная непривычной суетой и шумом.

— До чего здесь много людей,— сказала она.— И все куда-то едут, всем куда-то надо...

А люди и в самом деле все шли да шли с чемоданами, велосипедами, детскими колясками, радиоприемниками, которые сдавали в багаж.

На весь зал гремела музыка, и потому все вокруг казалось праздничным, необычным.

— Летом полетим с тобой в отпуск на самолете,— сказал Борис.— Возьмем Ветку — и на ТУ-104, хочешь?

— Полетим,— согласилась Леля.

Музыка в зале часто обрывалась, вежливый женский голос сообщал:

— Начинается посадка на самолет Москва — Рига, рейс 132-й.

И опять звучала музыка, и снова обрывалась, и голос сообщал:

— Кончилась регистрация билетов на рейс... Москва — Ереван...

— Тоже работа! — заметила Леля.— Объявляй целый день рейсы, надоест, должно быть!

Но больше всего ее поразил справочный телевизор. Нажмешь кнопку, засветится экран, и на нем появится девушка. Глядит на тебя, словно видит, хотя и не видит никого, только слышит. Спросишь ее — ответит. Хоть каждую минуту нажимай кнопку, спрашивай.

И Ветка тоже смотрела на телевизор, как зачарованная. Попросила Бориса:

— Можно я скажу?

— Что же ты скажешь?

— Какая она красивая.

— Это нельзя говорить. Не надо. Тут спрашивают только, когда самолет придет, или не опаздывает ли, или когда вылетел.

Ветка недослушала Бориса, нажала кнопку. С экрана на нее в упор взглянула девушка. Губы яркие, крашеные, на лбу челка.

Ветка растерялась. О чем спросить, так и не могла вспомнить. И Леля не знала. Все разом из головы вылетело.

— Спроси, когда самолет из Иркутска? — посоветовал Борис.

Ветка опять нажала кнопку, крикнула громко, восторженно:

— Тетя, когда самолет, который из Иркутска?

Девушка строго, без улыбки ответила. Экран погас.

— Я еще хочу,— сказала Ветка.— Я еще не все спросила.

— Хватит,— сказала Леля, а Борис засмеялся:

— Да ты на себя погляди, почище Ветки...

Домой ехали в метро, до самой станции «Речной вокзал». Борис сидел напротив Лели, поглядывал то на нее, то на Ветку.

Он был счастлив и сознавал, что счастлив, и в то же время боялся, постоянно боялся за свое счастье, боялся, что в один прекрасный, нет, не прекрасный, а страшный день все переменится разом, и Леля уйдет. Куда уйдет, он не знал, даже и на минуту не хотел представить себе, что ее не будет с ним, и все-таки не мог не думать об этом.

Каждый раз, отведя машину в парк, он спешил к себе в Химки-Ховрино так, словно опаздывал на поезд. Лишь завидев освещенное окно, вздыхал с облегчением. Она дома, ждет его...

Такого с ним еще не было. Он любил свою первую жену, был верен ей, но никогда раньше не рвался домой так, как рвался теперь, никогда в прошлом не было у него такого чувства, какое владело им теперь, словно внезапно появился у него островок незащищенности, открытый всем бурям и напастям, и он, единственно он, никто другой обязан был защитить и укрыть этот островок. Только он один был за них всех в ответе.

Один он.

5

Комната у них была хорошая, неполных семнадцать метров. В квартире еще одна соседка, бухгалтер райпромтреста, пожилая молчунья — случалось, по целым дням не выговорит ни слова.

Конечно, Борис понимал, для четверых комната маловата. Хорошо бы квартиру, пусть маленькую, но отдельную.

Леля успокаивала:

— Ничего, обойдемся...

Но он не послушался ее, записался на прием к председателю райжилуправления. Не прошло и десяти дней, как председатель, добродушный толстяк с металлическим браслетом на левой руке, по слухам, верное средство против гипертонии, принял его, внимательно выслушал и пообещал поставить на очередь.

Но и так, в одной комнате, жить было уютно, весело. Иногда вечерами ходили в соседний кинотеатр на последний сеанс. Дом стоял на краю улицы, сразу за домом начиналась березовая роща. По воскресеньям до самого обеда гуляли с Веткой в березовой роще.

Зима выдалась снежная, в воскресные дни в Химках полным-полно было лыжников.

Борис купил Ветке маленькие лыжи красного цвета с красными палками, выходил вместе с ней из подъезда, и она сразу вставала на лыжи.

После Нового года Ветку устроили в детский сад, и по вечерам за ней заходила Леля и приводила ее домой.

В детском саду Ветке поначалу не нравилось. Она даже плакала иногда, просила:

— Можно, я сегодня не пойду?

Приходила из детского сада, рассказывала:

— Сегодня у нас пожар был, все игрушки сгорели, ни одной не осталось!

Леля пугалась.

— Как это так — пожар? Почему же мне никто ничего не сказал?

Ветка таинственно моргала ореховыми глазами:

— Это — секрет. Нельзя никому говорить!

Она была выдумщицей, Ветка, не врушкой, нет, именно выдумщицей.

Иногда Борису казалось, что она живет в каком-то одной ей понятном, придуманном мире.

То скажет, что сама, своими глазами видела десять собачек, пять белых, пять черных. И все эти собачки шли парами по улице, на задних лапках, а на шее у них звенели колокольчики. Или встанет утром и начнет:

— Сегодня ночью какой-то дяденька смотрел в наше окно, всю ночь смотрел, и я тоже проснулась, гляжу на него, а он на меня.

— Ну, а потом что было? — спрашивал Борис.

Ветка вздыхала.

— А ничего. Посмотрел и ушел.

Ореховые глаза ее смотрели прямо, открыто. Она сама верила всему, о чем говорила.

Леля сказала Борису:

— Ты брось ее слушать!

— Почему, брось? — спросил он.— Она же человек, раз говорит, надо выслушать.

Леля засмеялась.

— Чудная она какая-то. Все чего-то сочиняет, и откуда что берется?

— Пусть сочиняет,— сказал Борис.

— Нет, не пусть,— возразила Леля.— Мне в детском саду сказали, что это очень даже вредно, когда ребенок все время сочиняет невесть что!

А Борису было всегда жаль обрывать Ветку, когда она начинала рассказывать о том, чего никогда не было и не могло быть.

Однажды Ветка сказала, что больше всего на свете ей хочется одну вещь.

— Какую такую вещь? — спросил Борис.

Ветка загадочно вытянула губы трубочкой.

— Угадай.

Борис стал угадывать:

— Новую куклу? Заводную машину с прицепом? Варежки с помпонами? Зимний капор в сборочках? Цветные карандаши? Белые валенки?

И хотя все, что он называл, было соблазнительно для Ветки, она решительно качала головой.

— Нет, не угадал!

А потом произнесла таинственным шепотом:

— Хочу голубого лебедя!

— Голубого? — удивился Борис.— Да разве бывают такие лебеди?

— Бывают,— уверенно ответила Ветка.— Сама видела.

— Какие же они, расскажи?

— Красивые,— Ветка широко развела руками.— Вот такие большие!

Борис повел ее в воскресенье в зоопарк. Ходили по дорожкам, разглядывали зверей в клетках — зебру, похожую на игрушечную лошадку, раскрашенную черными и белыми полосами, высокого-превысокого жирафа с неправдоподобно маленькой головой, неуклюжих медвежат на площадке молодняка.

Ветка сдержанно похваливала:

— Смешные, правда...

Потом отправились к пруду, на котором плавали белые и черные лебеди.

— Видишь,— сказал Борис,— какие бывают лебеди? Или белые или черные. Поняла?

— Нет,— сказала Ветка,— еще бывают голубые.

Борис купил ей в Доме игрушки пластмассового гуся с красным клювом, сизо-изумрудного цвета. Ветка окинула гуся пренебрежительным взглядом.

— Это же гусак, а не лебедь и совсем не голубой, а зеленый!

Вася нарисовал ей лебедя, добросовестно выкрасил его лазурной краской.

— Как, годится?

— Вот еще,— обиделась Ветка.— Я же хочу живого...

Голубой лебедь даже снился ей. Иногда утром, проснувшись, она рассказывала:

— Опять ко мне голубой лебедь приходил...

— Что же он говорил тебе? — спрашивал Борис.

— Ничего. Просто приходил,— отвечала Ветка и жмурила глаза, как бы пытаясь снова увидеть сон.

Обычно он не вступал в разговоры с пассажирами, за его спиной пассажиры делились секретами, целовались, ссорились, клялись страшными клятвами, позабыв о нем, и он пропускал мимо ушей все это, чужое, далекое от него.

Но однажды, когда вез во Внуково седого, осанистого старика,— по всему видать, ученый человек,— Борис спросил:

— Как думаете, бывают голубые лебеди?

— Не слыхал,— ответил старик.— А впрочем, все может быть.

Борис не стал больше допытываться.

Кто знает, может, и вправду живут где-то на свете лебеди голубого цвета?

6

Леля поступила работать шофером на базу Мосстроя.

Борис уговаривал ее:

— Ни к чему тебе это, я уж как-нибудь сам, вытяну...

Но она, обычно сговорчивая, заупрямилась. Надоело день-деньской сидеть дома, а тут работа неплохая, ездить недалеко, и, как ни говори, когда в семье двое работают, с деньгами посвободней...

Работа у нее была в одну смену, в одно и то же время, с утра. И случалось, Борис сам отводил Ветку в детский сад.

А если бывал свободен до вечера, шел в магазин, готовил обед.

В конце концов оба они работают, чего там считаться?

А потом началось все это. Леля вдруг стала другой, непохожей на себя. То казалась бурно веселой, ни с того ни с сего принималась целовать Ветку, беспричинно смеялась, все время что-то напевала, а то приходила с работы мрачная, стояла на кухне возле своего стола, уставившись в одну точку. Суп выкипал, мясо пригорало, а ей хоть бы что.

Ветка приставала:

— Что с тобой, мама? Почему ты такая?

Она огрызалась с досадой:

— Никакая я не такая, опять придумываешь?!

Однажды Лели долго не было с работы. Он не спал, дожидался ее. Она пришла поздно, в первом часу. Сказала, что случайно повстречала старинную знакомую, вместе учились в школе механизации, знакомая затащила ее к себе, заговорились, заболтались, не заметили, как прошло время...

Она не умела лгать, и он видел, что она лжет, безошибочно чувствовал неправду каждого слова, но ему было жалко ее, жалко оттого, что ей, непривычной ко лжи, приходится изворачиваться, придумывать какие-то небылицы. И он не стал расспрашивать, заговорил о чем-то другом и увидел, как мигом прояснилось ее лицо.

Он старался не вспоминать об этом случае. Всякое бывает в жизни. Жизнь — она большая, длинная, всего в ней вдосталь. Еще лучше, еще добрее относился к Леле, но осталась в сердце царапина, пусть небольшая он и думал, что пройдет со временем, а осталась.

А Леля все чаще стала уходить куда-то и потом путалась, объясняя, где была, все чаще сбивалась, оправдываясь, сама страдала от своей неправды.

Даже Вася начал о чем-то догадываться; напрямик сказал отцу:

— Чего ты с ней церемонишься?

Но отец прикрикнул на него. Никогда раньше не повышал голоса на сына, а тут прикрикнул, даже рукой по столу ударил. Вася обиженно проворчал:

— Мне что? Она мне не мать...

Борис как-то выпил для храбрости, решил: «Сегодня же выложу ей все, пусть одумается, перестанет хвостом трепать или же пусть уезжает, откуда приехала!»

С тем и явился домой. А дома Леля купала Ветку. Оголенные руки по локоть в мыльной пене, мыльные брызги звездочками белели в рыжеватых волосах. Ветка хлопала по воде руками, смея-

лась, когда мыло попадало в рот, и Леля смеялась вместе с нею. Давно уже не была она такой веселой.

Борис стоял в дверях ванной, смотрел на нее, на Ветку. Хмель разом сошел с него, и он ничего не сказал в тот вечер.

Но что должно было случиться — случилось.

Был конец марта. Мокрый снег кружил за окном, лепился к стеклу. Деревья в березовой роще стонали и гнулись от ветра.

Леля уложила Ветку спать, потом села к столу, стала чинить Веткину ночную рубашку: совсем еще новая, недавно купила, а уж под мышками порвалась.

Борис читал «Вечерку». Изредка бросал взгляд на Лелину опущенную голову. Рыжеватые волосы ее казались золотистыми при свете лампы. На руке, возле локтя — россыпь веснушек.

Леля шила быстро, умело. Она и вообще все делала ловко, легко, вроде бы наслаждаясь своим уменьем.

Борис сложил «Вечерку».

— Завтра мне во вторую смену,— сказал он.— Так что я поведу Ветку в детский сад.

Леля подняла голову. Глаза ее казались припухшими.

Аккуратно свернула рубашку, положила ее на стул, возле Веткиной кровати.

— Завтра она не пойдет в детский сад...

— Почему?

Леля ответила не сразу.

— Не пойдет. Понимаешь, так вышло...

— Что вышло? — спросил он.

— Не будем мы с тобой больше.

Он вынул сигарету. Обычно в комнате не курил, выходил на кухню, а тут не выдержал, закурил.

— Так вышло,— повторила Леля.

— Уходишь? — спросил Борис.— Куда же?

— Ты знаешь.

— Ничего я не знаю.

— К нему. Он хочет, чтобы мы, Ветка, он и я, все вместе жили...

Борис вдруг поразился, как спокойно выслушал то, что сказала Леля. Так спокойно, будто все это вовсе к нему не относилось.

Он не знал еще, что это спокойствие бывает лишь сперва, в самом начале, боль придет позднее, и чем дальше, тем будет больнее...

Он помолчал немного, потом спросил:

— Когда же?

— Завтра.

Борис погасил сигарету, хотел закурить новую, но раздумал. Нехорошо курить в комнате, где спит ребенок.

Подошел к Ветке, посмотрел на нее. Ресницы спят, кулачок наружу...

Он не хотел ни о чем спрашивать, однако не удержался, спросил:

— Жалеть не будешь?

— Может, буду.

Леля нахмурилась, отвернулась от него.

— Ты очень хороший, ты такой хороший...

Она заплакала, и он понял то, что она не сказала. Что, какой бы Борис ни был хороший, а любит она не его — другого. И вовсе не потому, что другой — Веткин отец. Просто любит она его — и все тут, и дело с концом!

Он хотел еще что-то спросить, но в это время пришел Вася.

Веселый, оживленный, не успел скинуть пальто, тут же начал рассказывать:

— Картина мировая! До того здорово! Советую пойти завтра...

Леля молчала, а Борис сказал:

— Там посмотрим.

7

Утром, когда Вася ушел в школу, Борис помог Леле собрать вещи, ее и Веткины. Как назло, под руку попадались его подарки,— косынка, Веткины варежки, маленькие лыжи с красными палками, с одной палки соскочило кольцо, он все собирался закрепить, да так и не собрался.

Чемодан был набит доверху, не закрывался, и Борис решил уложить детские вещи отдельно. Взял свой клетчатый, очень удобный чемодан, который купил еще в прошлом году, до Лели. Уложил аккуратно, любо-дорого было поглядеть, все вошло — и шубка, и платья, и белье, и Веткины игрушки.

Потом защелкнул «молнию», а к чемодану прислонил лыжи и палки.

— Я тебе чемодан верну,— сказала Леля.

Борис был деловит, озабочен, но не печален. Леля подумала, может быть, не очень уж сильно любил он ее, если так спокойно, обстоятельно укладывает вещи, не забывая ни о чем.

Ей стало чуточку обидно, но все-таки она обрадовалась, что он не переживает.

Ветка все время вертелась под ногами, приставала:

— Папа, мы на машине поедем? На твоей машине?

Она любила ездить с ним, иногда он брал ее с собой, и она си-

дела рядом, на переднем сиденье и смотрела, как одна за другой меняются в счетчике цифры.

Только что было десять, а вот уже двенадцать, потом двадцать пять, потом тридцать, потом сорок...

Придя домой, рассказывала, что сама видела, как в папиной машине, не видимый никому, кроме нее, живет маленький, не больше пальца, человечек, и это он меняет цифры, сам, своей рукой...

В тот день Борис работал во вторую смену. Время было еще раннее, но дома оставаться не хотелось, и он поехал к себе, в парк, дождался сменщика и вернулся домой на машине.

Он ехал знакомыми улицами и, странное дело, очень ясно, до того отчетливо, словно смотрел в бинокль, видел все, что было вокруг: тротуары, покрытые хрупким снегом, уже доживающим последние дни, голые ветви деревьев.

Борису вспомнилось, как еще совсем недавно,— когда это было? — они пришли на аэровокзал, и Леля изумленно оглядывалась, а Ветка нажимала кнопку телевизора, и Леля говорила:

— Как много людей, и все куда-то едут...

Он не знал, как она встретилась с тем, кого любила когда-то, нет, не так — вовсе не переставала любить. Искала ли его, или он нашел ее, или все это произошло случайно?

Не все ли равно?

Машина вышла на Ленинградское шоссе. Порой кто-нибудь поднимал руку на зеленый огонек, но Борис проезжал мимо, привычно обходя грузные самосвалы и застывая у перекрестка, дожидаясь, пока светофор откроет путь.

Леля и Ветка стояли на улице, возле дома. Васи не было, еще не вернулся из школы.

Ветка, как и всегда, села рядом с Борисом. Сразу же уставилась на счетчик, на котором начали выскакивать цифры,— десять, двадцать, тридцать...

В зеркальце на ветровом стекле мелькало лицо Лели. Замкнутое, почти чужое лицо. Борис старался не смотреть на нее, чтобы не встретиться с нею глазами. Но она сама не глядела в его сторону, смотрела все время в окно, и глаза их ни разу не встретились.

Доехали быстро. Дом находился в Марьиной роще — одноэтажный, провинциального вида особнячок, чудом уцелевший среди высоких, многоэтажных зданий.

Борис выгрузил из багажника чемоданы, вынес лыжи с палками.

Он не знал, что сказать ей на прощанье. И вообще не знал, что полагается говорить в таких случаях. Пожелать счастья или сказать, что не хочет, чтобы она жалела о нем? Или попросить не обижать Ветку,— хотя кто же ее обидит?

Он сказал просто, протянув ей руку:

— Будь здорова.

Леля неловко пожала его руку:

— Спасибо. Будь здоров...

Ветка изумленно таращила глаза, никак не могла сообразить, что к чему. И вдруг заревела, в голос:

— Папа, ты куда? Я не хочу без папы!

Леля сердито прикрикнула на нее:

— А ну, перестань сейчас же!

Но Ветка не унималась.

— Я не хочу без папы! Не хочу, не хочу, не хочу!

Борис нагнулся к Ветке, прижался лицом к ее горячей, мокрой от слез щеке.

— Я скоро приду, дочка, ну, чего ты, в самом деле?

Веткины пальцы вцепились в его руку.

— Не уходи, папа! Я не хочу без тебя!

Леля молча смотрела на Бориса, на Ветку. Может быть, предчувствие горестей, еще неведомых, но неминуемых, в будущем, охватило ее?

— Пойдем, Ветка,— сказала она, желая одного — чтобы все это поскорее кончилось.— Пойдем, мне некогда.

— А папа? — спросила Ветка.

— Я после приду,— сказал Борис.— После работы, ты же знаешь, дочка, мне работать надо.

— А когда же ты придешь?

Борис не ответил ей. И Леля тоже молчала.

— Я хочу с папой,— сказала Ветка и заплакала еще горше.

— Сегодня нельзя,— сказал Борис.— Давай завтра, хорошо? Я тебя возьму завтра.

Он взглянул на Лелю. Леля спросила:

— Завтра сможешь?

— Смогу.

— Тогда заходи за ней в детский сад...

— Зайду...

Веткины глаза мгновенно высохли, она рассмеялась.

— Завтра — это скоро, да, папа? Это очень скоро?

— Завтра — это завтра,— ответил Борис.— Я приду за тобой.

— Только не забудь.

— Не забуду.

Он поцеловал Ветку в щеку, кивнул Леле и сел в машину.

Ехал он быстро, хотелось как можно дальше отъехать от той улицы, все казалось, обе они, Леля и Ветка, все еще стоят возле дома и смотрят ему вслед.

В САМОМ НАЧАЛЕ

И вот уже позади Москва, и первый, самый первый день воздушной тревоги.

И позади глухой раскат дальнобойных орудий, и бомбы, падающие сверху, как неизбежное несчастье, и зажигалки, барабанящие по крышам, и окна в бумажных лентах крест-накрест, и синие лампы, и маскировочные шторы — все, все позади.

На станции Пенза-1-я отдыхает паровоз, широко раскрыты двери теплушек; здесь, в теплушках, мы жили более десяти дней. Здесь был наш дорожный, неуютный быт, полки в три ряда, чемоданы, корзины, дребезжащие чайники...

Я никогда не думала раньше, что в нашей стране так много детей. Удивительно много. В теплушку их понабилось, должно быть, не меньше тридцати. Самые маленькие кричали, плакали одинаковыми хриплыми голосами. И всем почему-то нужно было на горшок, и все время им хотелось пить. И когда поезд останавливался, старшие дети выскакивали на землю и бегали друг за другом, а матери кричали одно и то же:

— Немедленно иди сюда! Поезд сейчас тронется...

Мы с мамой ехали на средней полке. Над нами, на верхней полке, ехала семья — отец, мать и сын лет восьми. Отец был больной, «психический», как о нем все шептались; он сидел, свесив ноги, и улыбался. Он все время улыбался, а его хлопотливая угрюмая жена и минуты не могла усидеть без дела: то бегала с чайником за кипятком, то резала хлеб, то вычесывала голову своему сыну или ставила заплаты на мужскую рубашку.

А на самой нижней полке ехала Эмилия. Она была худая, красивая и очень злая. Когда-то, в той, теперь уже далекой жизни, Эмилия жила в нашем доме во втором корпусе. У нее была отдельная квартира, был важный муж, о нем говорили: «Шишка».

Эмилия что ни день меняла платья, и наша дворничиха тетя Паша вздыхала завистливо:

— А чего ж ей не франтить? За таким мужем живет как за каменной стеной...

И мне представлялся ее муж, мрачный и твердый, словно гранит, и я была очень удивлена, когда однажды увидела его, он был маленького роста, Эмилии по ухо, щупленький и, как мне показалось, застенчивый.

Эмилия, должно быть, из-за своей худобы, оказалась проворнее многих, сразу же заняла одна нижнюю, самую удобную полку. Она лежала вытянувшись, чтобы никто не присел, молчаливая и сердитая, хотя ей было конечно же куда удобнее, чем всем другим.

Иногда она раскрывала свой щегольской изумрудно-зеленый чемоданчик и, нырнув туда всей головой, что-то быстро, по-птичьему клевала. Я чувствовала запах копченой колбасы, сыра и глотала слюнки. А Эмилия, насытившись, щелкала замком чемоданчика и клала его себе под голову. Два других ее чемодана, больших, важных, желтой кожи, стояли в углу теплушки.

На одной остановке, где-то недалеко от Пензы, к нам в теплушку взобралась женщина с маленьким ребенком. На ней было демисезонное пальто, серое, в клеточку.

Она сказала:

— Я с вами доеду. Хоть немножко. Можно?

Никто ей ничего не ответил. Она села на чей-то чемодан в углу. Я увидела, как Эмилия приподнялась, щуря глаза, потом успокоенно откинулась снова, видно, боялась, не на ее ли чемодан села женщина.

А она развернула грязное байковое одеяло, в которое был завернут ребенок, и мы увидели крохотного мальчика, совершенно голого и такого тощего, что ручки и ножки у него казались неживыми.

И тогда моя мама взяла чайник и сказала ей:

— Давайте первым делом вымоем его...

Мама стала лить на мальчика воду, а потом вытерла его чистым полотенцем, и женщина сказала:

— Три ночи не спала, бежала из Минска, в чем есть...

Мама поглядела на Эмилию. И все в теплушке смотрели на нее. Эмилия ехала одна, совершенно одна на своей полке...

Мама долго смотрела на Эмилию, но та делала вид, что ничего не замечает. И мама сказала:

— Эмилия, пожалуйста, уступите ей место, пусть отдохнет немного, она ведь с ребенком...

Эмилия, не поворачивая головы, сухо ответила:

— Во время войны каждый думает о себе...

А теперь это все уже позади. И полки во всех теплушках пу-

стые, хоть любую занимай, и нами распоряжается рослая тетенька в вискозном платье, которую все зовут «товарищ из эвакопункта».

Тетенька деловая, она раздает талоны на хлеб, на обед — миска супа и каша — и еще на баню. В бане можно помыться, а вся одежда в это время идет в санприемник, попросту его называют «вошебойка», и в бане сколько угодно воды, а мыла крохотный квадратик, едва хватает, чтобы промыть волосы.

А потом товарищ из эвакопункта дает ордера на вселение в комнаты.

Все наши вещи свалены в школе, в которой никто уже не учится и не будет учиться: здесь скоро оборудуют госпиталь.

А пока что, на несколько дней, эту школу отдали нам, эвакуированным.

Вот он, наш дом, большой школьный зал, осыпающаяся штукатурка стен, давно не мытые окна...

Дети бегают по залу, а вдоль стен стоят вещи. Возле нас — семья, ехавшая на верхней полке. «Психический» лежит, жена сделала ему постель из чемоданов и мешков, он лежит, безмятежно улыбается. А она сидит возле него, прямо на полу, скрестив ноги, и мрачно думает о чем-то.

— Хочешь спать? — спрашивает мама.

— А на чем?

Она заставляет себя усмехнуться. Она изо всех сил хочет быть веселой, спокойной, но у нее все получается шито белыми нитками.

А мне в этот момент представляется моя кровать, та, что осталась в Москве, в Трехпрудном переулке. Железная, с прогнувшейся сеткой, порядком-таки старая, какая же она была удобная!

И почему я не ценила ее? Почему не радовалась тому, что могу прийти домой и лечь на свою собственную кровать, голова на подушке, одеяло с пододеяльником, белая простыня...

Почему принимала как должное то, что у меня есть дом?

Нет, я не одинока. Не одна я вспоминаю сейчас о прошлом житье-бытье.

Все соседи говорят об одном и том же. Только и слышится изо всех углов:

— А у нас в Москве две смежные, потолок почти четыре с половиной...

— А мы жили на Калужской. Бывало, выйдешь вечером в Нескучный сад, тополя цветут, вся земля от пуха белая-белая...

— А мы каждую осень на юг — лето продлевать. У меня муж до того море любил...

— А мы... А мы... А у нас...

Неужели они все, все как есть, были сплошь счастливые? Не-

ужели, живя в Москве, они только и делали, что радовались, ходили в парки, в театры, ездили на курорты?

Послушаешь их — и в самом деле все были такие счастливые!

Потому что сейчас я тоже знаю — я была счастливой. Самой счастливой на всем белом свете!

Удивительное дело, ведь в ту пору я этого еще не сознавала. И у меня были, как, должно быть, у всех, свои неприятности. Я, например, очень обижалась на маму. Прежде всего за то, что она требовала от меня непосильного.

Я не любила стелить свою кровать; и на столе, на котором я готовила уроки, у меня постоянно был беспорядок: книги навалены одна на другую, тетради разбросаны, чернильница всегда открыта.

Мама не уставала повторять:

— Приучись убирать за собой. Слышишь?

— Сейчас,— отвечала я.

— Убери свой стол,— неотступно требовала мама.

— Сейчас,— говорила я.

А мама настаивала:

— И пыль сотри, а то на твоем столе можно писать даже без чернил.

Я злилась и бежала к папе жаловаться. Папа понимал меня, как никто. Он тоже никогда не убирал свой письменный стол.

И мама говорила о нас с папой:

— Что один неряха, что другой, в кого вы только такие?..

Теперь я поняла, это все были семечки, никакие не неприятности, так, ерунда на постном масле...

* * *

Утром тетенька из эвакопункта долго роется в своем потрепанном, видавшем виды портфельчике.

— Вот, нате, отдельная комната, только далеко, в Покровской слободе.

— Мне все равно где,— отвечает мама и протягивает руку за ордером.

Но тут вскакивает жена «психического». Темной цепкой ладонью выхватывает ордер из маминой руки.

— Как же это так? — надрывно кричит она.— Им двоим цельную комнату, а тут трое, да еще больной человек, инвалид самой первой группы, нам, стало быть, что же, в какую-либо ловушку идти?

В зале тишина. Все слушают, предвкушая нарастающий скандал: как-никак развлечение.

Мама говорит очень спокойно:

— Пожалуйста, берите...

Женщина несколько мгновений удивленно глядит на нее: она уже приготовилась основательно поорать; по-моему, она даже испытывает некоторое разочарование.

— Мы получим что-нибудь другое,— продолжает все так же спокойно мама.

Тетенька из эвакопункта проводит гребенкой по волосам — от лба к затылку и спрашивает:

— Вы сами-то кем работали?

— Учительницей.

— Интеллигенция,— говорит она.— Ну, что мне с вами делать?

Она снова без всякой нужды проводит гребенкой по своим волосам. В ее глазах, устремленных на маму, на мамино усталое лицо и бледные слабые руки, я читаю то же слово, сказанное давеча: «Интеллигенция...»

— Вы что, в школе работали? — спрашивает она маму.

— Нет, в институте связи.

— У меня племянница все хотела поступить в институт связи, да где уж теперь, война...

Чуть заметная улыбка озаряет ее краснощекое лицо:

— Теперь она на курсы сестер поступила, спит и видит на фронт уйти...

Есть люди, которым идет улыбаться. У нее, например, удивительно хорошеют глаза, сразу становятся ясными-ясными.

Я спрашиваю ее:

— Как вас зовут?

— Серафима Сергеевна,— отвечает она.— А что?

Не дожидаясь моего ответа, озабоченно хмурит брови. Улыбки уже и следа нет.

— Так что же мне с вами делать?..

А наша соседка между тем начинает быстро, лихорадочно собирать свои вещи. Она раскрывает и опять запирает свои чемоданы, связывает вместе одеяла, то и дело покрикивая на сына:

— Сережка, не путайся под ногами... А ну, давай помогай...

Она перевязывает чемоданы толстой веревкой, и они свешиваются один на грудь, другой на спину, в руках у нее мешок. И у Сережи мешок. Только муж с пустыми руками. Улыбаясь, он безмятежно идет за своей женой и за сыном, спотыкающимися на каждом шагу. Они идут занимать нашу комнату.

Все кругом провожают их завистливым взглядом. Они уже устроились, а как будет с остальными?

Должно быть, Эмилия тоже устроилась — ее не видать,

* * *

На следующий день нам приносят еще один ордер.

— Комната почти отдельная,— говорит Серафима Сергеевна.— Хозяйкина дочь и вы двое. В самый раз.

— Дайте адрес,— просит мама.

Она протягивает ей ордер.

— Улица Белинского, дом десять.

Я спрашиваю:

— А если опять не пустят?

Мама дергает меня за руку.

— Что ты вмешиваешься? — шепчет мама, когда Серафима Сергеевна отходит от нас.— Мы и так уже ей надоели, и потом, смотри, скольких еще надо устроить!

И в самом деле, все ее обступили, все кричат в одно и то же время, она не успевает ответить и поминутно роется в своем портфельчике и вынимает ордера, а ей суют эти ордера обратно, каждому хочется жилье поудобней, побольше, поближе к центру...

Улица Белинского находится возле вокзала. Не только вокзал, но и вся площадь вокруг него забита людьми. Лежат прямо на земле женщины, маленькие дети, старики, старухи, лежат, окруженные своим скарбом, а с вокзала доносится шум поездов, и все новые толпы людей вливаются на площадь, на которой, кажется, и так уже нет ни одного свободного сантиметра...

Дом номер десять на вид уютный. В палисаднике растут ноготки и мальвы. Мирно, совсем как до войны, жужжат пчелы.

Дверь в дом не заперта. Мы входим в сени и сразу же попадаем на кухню. Большая русская печь, некрашеный, тщательно выскобленный стол, стулья вокруг стола.

Пол недавно вымыт, приятно пахнет влажным деревом, чистотой, домовитостью.

И мне кажется, здесь нас примут. Я даже почему-то уверена, что примут, не выгонят. Так и есть.

Нас встречает хозяйка, невысокая, приземистая, с улыбчивым лицом.

Мягким, рассыпчатым говорком она бросает круглые, как бы обкатанные слова:

— Милые вы мои, да конечно же, да почему бы и нет? Нас в доме только есть, что я да дочушка. Вот такая, ваша ровесница, только она сейчас в колхозе гостит, у родных, а с осени учиться приедет, вот вместе с вашей, стало быть, за одну парту сядут...

О, как отрадно слушать ее, смотреть в доброе, с ямочками на щеках лицо, сидеть за этим столом и ощущать прохладу, идущую

с пола, застеленного ветхими, но чистенькими половичками!

Она сидит напротив нас. Улыбается. Рот сочный, губы румяные, а глаза сладкие-сладкие, словно финики, и даже цвета такого же, золотисто-коричневые.

На ней ситцевое, в горошек платье, поверх платья неожиданно нарядная, небесно-голубая вязаная кофточка с блестящими пуговицами.

Чем-то эта кофточка кажется мне знакомой, или я просто видела где-то точно такую же?

— Дом у нас хороший, теплый,— сыплет хозяйка.— Печка благодарная, ее раз протопишь, до следующего вечера не остынет, а комнат всех три — спаленка, дочкина комната и зала. Хотите, гляньте. Меня, между прочим, Полиной Дмитриевной зовут. А вас как?

Она ведет нас в залу, большую, с диваном, обтянутым белым чехлом, с комодом, на котором стоят гипсовые фигурки, стеклянные яйца и коробочки из морских ракушек, с огромным фикусом в углу. Листья фикуса разрослись и затеняют окно, и от этого в зале прохладный полумрак. И на полу те же пестрые половички, что и на кухне.

— Хорошо у меня? — хозяйка с гордостью глядит на маму.

— Очень хорошо,—искренне отвечает мама.

А я тут же встреваю в разговор:

— Мы здесь жить будем?

Хозяйка широко улыбается. Золотисто-коричневые глаза-финики источают невыразимую сладость.

— Милая ты моя,— она поет, просто поет.— Да разве в зале живут? Да что ты, родненькая? Зала — это для глаз отрада...

Мама укоризненно качает головой.

— Конечно, мы понимаем,— извиняющимся тоном произносит она, почему это она понимает, до меня так и не доходит: — Нам сказали, что комната вместе с вашей дочкой...

Хозяйка застегивает и вновь расстегивает перламутровые пуговицы своей кофточки.

— Так-то так,— говорит она.— Да дело такое вышло, тут ко мне родственница приехала, тоже из Москвы...

Мы с мамой ошеломленно переглядываемся. Опять не повезло?

Мы уже знаем о том, что нас, эвакуированных, неохотно пускают, даже нарочно берут к себе всяких родственников и знакомых, лишь бы обойтись без чужих, приезжих. Это называется «самоуплотниться».

— Да вы не тревожьтесь,— продолжает хозяйка.— Я и в испол-

коме сказала: пожалуйста, со всем моим удовольствием, только что же я могу поделать? Свояченица аккурат за два дня до вас приехала.

— Ничего не поделаешь,— замечает мама.

Хозяйка смотрит на нее, наморщив гладкий, низенький лоб.

— Есть у меня еще комнатка, для двоих достаточная. Может, глянете?

Комната позади кухни. Собственно, и не комната даже, а так, закуток, отделенный от кухни фанерной переборкой, которая не доходит до потолка. Окна нет. У стены стоит деревянный топчан, и все. Больше здесь ничего и не поместится.

— Вот,— Полина Дмитриевна широким жестом обводит вокруг себя, словно предоставляет нам невесть какую роскошь.— Здесь вам будет очень даже превосходно. Что вам, двоим, много ли места надобно? Переспали — и ладно, а кушать можете на кухне, мне не жалко.

Мы идем за нашими вещами в школу, и мама всю дорогу говорит о том, что конечно же это не Пале-Рояль, но все-таки как-никак крыша над головой, и теперь, когда есть квартира, надо будет подумать о работе, и она пойдет в роно и попросит устроить ее, у нее же все-таки пятнадцать лет стажа, не могут же ей не дать работы, и еще многие планы она строит, уговаривая меня, что все будет хорошо, уговаривая саму себя, веря своим словам и стараясь уверить меня.

Когда-то папа говорил, что мама оптимист от рождения и это очень даже хорошо, оптимистам легче живется.

Легче ли? Много позднее я поняла, что оптимистов чаще постигают разочарования, им суждено постоянно совершать ошибки, раскаиваться, снова совершать и не жалеть об ошибках.

И, может быть, то, что ошибки и разочарования не в силах расхолодить оптимистов, привить им человеконенавистничество, неверие в людей, является, в сущности, самой убедительной, самой непоколебимой их силой...

* * *

Самовар кипит на столе, пар вьется над чашками. Черный хлеб нарезан тонкими ломтями, в стеклянной вазочке — слипшиеся карамельки-подушечки.

Все это необыкновенно, изумительно вкусно. Я хочу взять третий кусок хлеба, но мамин взгляд останавливает меня.

— Да бери, не стесняйся,— говорит Полина Дмитриевна.— Кушай, деточка, на здоровье...

Она внимательно оглядывает мое платье из шелкового полотна, синее в красную полоску.

— В Москве покупали? Сразу видно, столичное...

— Это старое,— говорю я.— У меня есть новое, шерстяное, с вышивкой...

— А ну покажи,— просит Полина Дмитриевна.— Покажи, деточка.

Я иду в закуток, вынимаю из чемодана свое новое платье, перед самой войной мама сшила, на воротнике и на рукавах вышивка гарусом, темно-зеленая с коричневым.

Полина Дмитриевна разглядывает материю на свет.

— Красивое платьице, ничего не скажешь, у нас такого днем с огнем не отыщешь...

— Да и в Москве такую шерсть достать было нелегко,— замечает мама.

Полина Дмитриевна с сожалением отдает платье маме.

— Увидела бы моя дочка, ее бы с ушами не оторвать. Да еще зеленого цвета, самый ее любимый...

— Я тоже люблю зеленый,— говорю я.

Она щурит свои финиковые глаза.

— Тут ко мне вчерашний день одна из Харькова просилась. Полная такая, увидела вашу комнату, ну ту, в которой вы живете, говорит: дорогая вы моя, берите, говорит, что хотите, только пустите к себе. Пальто бостоновое предлагала, костюм полушерстяной, юбка в складочку. Она и сегодня ко мне зайти посулилась, прямо спит и видит у меня остаться...

Полина Дмитриевна выжидательно глядит на маму. А мама молча складывает мое платье и отдает ей.

Полина Дмитриевна, довольная, обволакивает нас сладкими, как бы обсыпанными сахаром словами:

— У меня вам хорошо будет. Мы одни с дочкой, муж о прошлом годе помер, мы с вами одной семьей, по-родственному заживем, вы у меня душой отдохнете.

Я слушаю ее, а глаза слипаются, только закрою — и вижу, как она внезапно выросла, стала сразу вышиной с целый дом, и непрерывно журчит ее голос:

— У меня... да со мной... да мы с вами... да я для вас...

* * *

Вечером мама постелила на топчан свое пальто, под голову положила папин костюм и свой жакет. Но мягче от этого не стало.

И еще было чудовищно душно, дышать нечем из-за печки, и еще клопы, клопы, и откуда только их такое множество?

Мама всю ночь чиркала спички и сбрасывала с себя и с меня полчища клопов, а они наползали вновь и вновь.

Едва дождавшись рассвета, я сказала маме:

— Ты как хочешь, а я здесь не останусь.

Я думала, мама будет уговаривать меня, что все образуется, все будет хорошо, но мама неожиданно сказала:

— Да, конечно, мы здесь не можем оставаться...

Мы вышли на кухню. Полина Дмитриевна растапливала печку. Круглое лицо ее было розовым от огня.

— Ну как, милые вы мои, хорошо ли вам спалось? — запела она.

— Мы уходим,— сказала мама.

Полина Дмитриевна повернулась к ней.

— Далеко ли? Ежели на рынок, я вам скажу, какая дорога покороче.

Мама медлила с ответом. Я не выдержала:

— Нас клопы заели, мы и минутки не спали...

Светлые брови Полины Дмитриевны нахмурились.

— Клопы? — повторила она.— Да что это вы? Да у нас их сроду не было. Это, может, вы их с собой привезли?

Не отвечая ей, мама пошла в закуток, вынесла чемодан и рюкзак.

— Как изволите,— жестко сказала Полина Дмитриевна.— У меня на ваше место сколько хочешь желающих найдется. Так и ходят, просят, пустите, за какие угодно деньги. Один давеча полпуда сахара предлагал, только пустите, а от вас, по правде говоря, что за польза? Это я уж так, по своей простоте, над вами сжалилась...

Мама сказала:

— Теперь можете пустить кого захотите.

— И пущу.— Глаза Полины Дмитриевны казались колючими, словно два буравчика, и следа прежней медовой ласковости не было в них.— И пущу, милая моя, вас не спрошусь, вон и свояченица моя то же самое говорит, на кой они, говорит, ляд тебе, ты бы лучше кого поинтереснее для себя пустила, и тебе бы помощь, и людям добро...

Мама кивнула мне:

— Идем.

Внезапно вбежала заспанная Эмилия. Мы с мамой удивленно уставились на нее, а она, не здороваясь, не поглядев даже на нас, скороговоркой заговорила:

— Пусть идут, скатертью дорожка, нам без них куда спокойнее, только платье вы им не отдавайте, дорогая Полина Дмитриевна, они вас побеспокоили, клопов вам навезли, вы должны это платье как компенсацию...

Почему она возненавидела нас? За что? В Москве она часто останавливала маму во дворе и рассказывала ей о том, как провела время на курорте, какие наряды себе сшила и что за подарки дарит ей муж. Она была гордая, хвастливая, но маму признавала, говорила ей:

— Во всем нашем доме только с вами и поболтать можно...

Мама даже не взглянула на нее.

— Хорошо, оставьте себе платье, раз ваша свояченица тоже так считает...

— Кто? — переспросила Эмилия.— Как вы меня назвали?

И вдруг я вспомнила, почему небесно-голубая кофточка нашей хозяйки показалась мне знакомой. Да я же видела ее в Москве на Эмилии, она фасонила в ней перед всем домом, и, по правде говоря, эта кофточка куда больше шла ей, чем низкорослой, пышнотелой Полине Дмитриевне.

Вместе с мамой я иду обратно в школу и думаю о том, что Эмилия, наверно, чувствует себя в этом доме достаточно прочно. Она такая — умеет устраиваться: в теплушке заняла лучшую полку, а здесь перехватила нашу комнату. Как это ей удается?..

* * *

— Что же с вами прикажете делать?

Серафима Сергеевна разводит руками.

Мы сидим в школе на чемодане. Совсем одни. Все уже устроились.

— Народ такой,— говорит Серафима Сергеевна усталым голосом.— Весь оброс пережитками. Боится свое упустить.

— Нам ведь ненадолго,— замечает мама.— На месяц, от силы на два, война кончится, и мы тут же обратно...

В ту пору все считали, война к зиме кончится. И папа, уходя на фронт, сказал:

— Разобьем фашистов к Октябрьской, не позднее...

И мы верили. Мы считали дни, мы подсчитывали, на сколько еще может хватить немцам бензина, и предвкушали, как они все побегут от наших русских морозов...

Серафима Сергеевна качает головой:

— На долго ли, на коротко ли, а жилье нужно...

Долго роется в своем портфельчике. Летят на пол карандаши, скрепки, кусок черного хлеба, завернутый в газету.

— Нет для вас ничего подходящего,— говорит она.— Все, что было, уже разобрали.

— Так лучше мы здесь останемся,— говорю я.

Она усмехается:

— Еще чего сказала. Сюда через три дня раненых начнут привозить. Уже сегодня первые койки доставили...

Наморщив лоб, напряженно думает о чем-то, время от времени бросая взгляды на меня и на маму.

Вдруг, как бы решившись, хлопает рукой по своему портфельчику:

— Ладно, идем ко мне. Не здесь же вам оставаться, в конце-то концов...

И первая хватает наш чемодан.

Мы идем долго, на самый конец города. Совсем недалеко отсюда лес, картофельное поле, а за полем, кажется, река. Оттуда доносится до нас легкий, отрадно свежий ветер.

— У нас как в деревне,— замечает Серафима Сергеевна.

Белый дом стоит на углу, белый, длинный барак, узенькие окна, фанерные заплаты на стенах.

Перед домом, в крохотном дворике, растянуты веревки, на веревках сохнет чье-то небогатое белье.

Барачный коридор без конца и без края, частые двери, на каждой двери замок: хозяева либо уехали, либо работают.

Лишь одна дверь не заперта. Серафима Сергеевна открывает ее, я вижу большую, чистую, неуютную комнату — кровать, комод, стол со стульями. На подоконнике герань, китайская роза; в середине комнаты на двух стульях лежит корыто, в корыте закутанный в одеяло ребенок.

— А вот и мы,— говорит Серафима Сергеевна, подходит к ребенку и делает «козу» из пальцев.— А вот и мы, агугушеньки...

Не выдержав, я прыскаю. Уж очень она кажется смешной, большая, рослая, краснощекая...

Мама, округлив глаза, смотрит на меня с укоризной. Но Серафима Сергеевна ни на кого не обращает внимания. Склонившись над корытом, приговаривает тоненьким голосом:

— Агугушеньки. Вот мы какие, смеемся...

Ребенок в ответ заливается пронзительным плачем.

Серафима Сергеевна берет его на руки.

— Давай поори, поори, небось опять мокрый, ну да, так и есть.

И зычно кричит:

— Дуся! Ты где, Дуся?!

Вбегает женщина. Это та самая, я ее сразу узнала, что влезла к нам в теплушку и потом лежала на нашей полке.

Только теперь на ней надето не демисезонное пальто, а ситцевое платье, явно с чужого плеча, оно ей широко и длинно.

— Полюбуйтесь,— говорит Серафима Сергеевна — ребенок из себя выходит, а ей и горя мало...

— Я на кухне была,— виновато сообщает Дуся,— простирнула немного.

Я с интересом смотрю, как Дуся перекладывает чистые пеленки в корыте, потом берет ребенка на руки, начинает его кормить.

— Два дня назад он был тихий, как мышь,— замечает Серафима Сергеевна.— Я думала, глухонемым будет. А нынче ночью такой концерт нам задал!

Дуся смущенно улыбается и прикрывает платком грудь.

— Так, значит,— говорит Серафима Сергеевна,— пока, стало быть, у меня будете, а там поглядим. На кровати Дуся спит со своим сокровищем, а я на полу. И вы на полу со мной, у меня мешки с сеном есть, устроимся...

Она бросает слова отрывисто, как бы думая все время о чем-то своем, и с первого взгляда кажется сердитой, неприветливой, но глаза у нее не сердитые, просто озабоченные, и я вижу: когда она смотрит на ребенка, взгляд ее становится теплым.

* * *

Мы живем у Серафимы Сергеевны уже десять дней.

Мы ее видим очень мало: она уходит утром, приходит поздно вечером.

Приходит усталая, работа у нее, как она сама говорит, зверская, зубастая, но, едва лишь переступит порог своей комнаты, сразу же принимается за дела: купает Егорку, Дусиного сына, стирает, моет пол или начинает генеральную уборку. У нее страсть ни с того ни с сего делать генеральные уборки. Тогда никому уже нет жизни. Стол, кровать, стулья она выносит в коридор, а сама буйствует — моет окна, протирает крашенные масляной краской стены, драит шваброй щелястый пол, причем не принимает ни от кого помощи, и мы все — Дуся с Егоркой, я и мама — в это время сидим во дворе и ждем, пока окончится весь этот кавардак.

А потом она зовет нас и, победно скрестив на груди толстые руки, приглашает полюбоваться идеальным порядком, созданным ею, и с заслуженной гордостью принимает наши похвалы.

У нее и в самом деле очень чисто. Она говорит:

— Я всегда была ужас какая аккуратная, а теперь особенно, потому что Егору требуется самый-пресамый чистый воздух...

О себе она рассказывает скупо, но мы и так уже знаем со слов

соседей, что она горячая, но душевная и до такой степени справедливая, что к ней приходят советоваться; как она решит, так и поступают.

Муж ее ушел на фронт месяц тому назад. Пока еще о нем ни слуху ни духу. Но она уверена, что он жив и обязательно вернется с победой.

Так и говорит:

— Как же это, чтобы он не выжил? А я как же тогда?

И такая прочувственная, почти наивная убежденность пронизывает ее слова, что невольно начинаешь верить вместе с нею: он вернется.

Ее муж — строитель, прораб, его знал весь город, он строил городской театр, Дом культуры, больницу. Перед самой войной им обещали дать новую комнату в хорошем доме, так прямо и сказали: «Первого июля справите новоселье».

— Ничего, и в бараке жить можно, — считает она. — Вернется, мы с ним квартиру отгрохаем, а без него ничего мне не нужно...

Иногда она берет карту, вырванную, должно быть, из школьного атласа, и начинает водить по ней пальцем.

— Он сейчас, наверно, под Ельней, а может, в Ярцеве или в Курске.

Радио она не выключает ни днем ни ночью.

А по радио передают сводки Совинформбюро, и все время возникают новые направления. Еще недавно было Брестское, Львовское, Белостокское, а теперь уже Смоленское, и даже страшно подумать, немцы упрямо движутся к Москве.

Я думаю о папе, о нашем доме, оставшемся в Москве, а Серафима Сергеевна уверенно говорит:

— Не может такого быть, чтобы они Москву заняли! Никогда в жизни!

И слушает сводки, перемежаемые чересчур бодрой музыкой, слушает сообщения о том, что партизанский отряд под командованием товарища П. подбил два танка противника и захватил много пленных, а партизанский отряд под командованием товарища С. спустил под откос фашистский состав, и я знаю — в это время ей кажется: может быть, и ее Павлик там, среди партизан товарища П. или товарища С.

Правильно говорят о ней, что она горячая. Должно быть, поэтому ее и послали работать на эвакопункт, а до этого она была нормировщицей в строительном управлении.

С первого взгляда она кажется суровой, но мы-то теперь хорошо знаем, какая она на самом деле.

Она — великая ругательница, и мама поначалу морщилась, слушая крепкие ее словечки, а после привыкла.

— Это все наносное, чисто внешнее,— сказала мама мне и добавила: — Но ты все равно не повторяй этих слов. Услышишь и забудь.

Однако я помню. Сама не ругаюсь, а помню.

Маму она устроила работать. Правда, не учительницей, а санитаркой в госпиталь.

Но мама довольна. У нас есть рабочая карточка, и, кроме того, мама иногда приносит из госпиталя немного хлеба, кусочек сахара, концентрат каши или супа.

А недавно мы обменяли папин костюм на два пуда картошки. Мама плакала, ведь костюм совершенно новый, папа его и трех раз не надевал, потом сказала:

— Ладно. Вернется, мы ему еще справим, а теперь нас эта картошка сильно выручит.

Больше всех довольна Дуся — картофельная душа.

— Нас, белорусов, так и зовут — бульбянники,— признается она.

Дуся хорошая, но необыкновенно рассеянная. Всегда все забывает.

Серафима Сергеевна даст ей карточки отоварить, прикажет сготовить суп, постирать пеленки, пойти в аптеку за лекарством для Егорки, а она что-нибудь да забудет.

— И как только ты на свете жила? — удивляется Серафима Сергеевна.— Как ребенка спроворила?

Дуся застенчиво улыбается и поясняет, что у нее был такой муж, другого такого нигде нет и не будет. Во всем ей помогал.

— Вернее сказать, все за тебя делал,— говорит Серафима Сергеевна.

Дусин муж, лейтенант-пограничник, с первого дня на фронте. Когда Серафимы Сергеевны нет дома, Дуся плачет и причитает:

— Убили его, чует моя душа, нет его на земле...

Но при ней старается не плакать, боится.

* * *

До сих пор помню...

Ранняя осень. Прощальные лучи солнца скользят по траве, уже кое-где пожухлой, пожелтевшей, лето было жарким, засушливым: на веревке, во дворике, окружающем наш барак, сохнет белье.

Я сижу с Егоркой на крылечке. Егорка норовит схватить меня за нос, а я стараюсь увильнуть от него, и мы оба смеемся. И Дуся, снимая белье, оборачивается к нам и тоже смеется. Блестят зубы

на ее лице, тонкие русые волосы светятся золотом, и вся она кажется молодой, красивой, решительно непохожей на ту измученную старую бедолагу, какой она явилась тогда в теплушке.

Мама на дежурстве, в госпитале. Серафима Сергеевна уехала в деревню, неподалеку от Пензы, договариваться о детском доме для ленинградских детей.

Эшелон из Ленинграда прибыл на той неделе. Детей разместили пока что в общежитии обкома, в центре города.

Серафима Сергеевна за эти дни даже с лица спала. Придет ненадолго домой и все об одном и том же:

— Вы бы только поглядели на них! Кожа и кости...

Один мальчик совершенно не спит, кричит не переставая:

— Там самолеты! Там самолеты!

Позапрошлую ночь Серафима Сергеевна не ночевала дома.

— Всю ночь около него была,— рассказывает она.— Он ведь не спит, глянет, что я здесь, глаза закроет, а только встать хочу, сразу же: самолеты! Боюсь самолетов! Так и не отошла от него до самого утра.

Мама спросила ее:

— У вас свои дети были?

— Нет,— ответила она.— Мы с Павликом думали было,— может, взять кого на воспитание. А теперь уж погожу, пусть сам вернется.

Мы играем с Егоркой в ладушки.

Дуся подходит к нам, садится на крылечко.

— Химки — это в Москве?

— Близко, а что?

— Давеча была на рынке, бабы говорили, немцы уже в Химках...

— Не может быть,— говорю я,— враки!

Дуся вздыхает.

Ей тоже неохота верить, но слухи ползут по городу, один другого страшнее, вчера кто-то сказал, будто Москва объявлена открытым городом.

Я прибежала к маме.

— Что такое открытый город?

Мама не успела ответить. За нее ответила Серафима Сергеевна:

— Начинается. Еще что придумаешь?

— Что начинается? — спросила я.

— Думаешь, не знаю, почему спрашиваешь?

И разразилась громовой речью.

Москва никогда не была и не будет открытым городом, и никогда в жизни немцы не войдут в нашу столицу. И все равно скоро наши погонят их, ко всем чертям погонят, так что только пятки

засверкают, и каждый честный человек, если он любит свою родину, никогда не будет слушать всякую трепотню, а конечно, всякие остолопы и шептуны, они на руку только врагам и шпионам, а больше никому...

И я ей поверила. Я уже привыкла ей верить. Но вдруг, проснувшись ночью, услыхала, что она плачет.

Мы спали рядом на полу. Я перебралась к ней. Она притворилась спящей, даже всхрапывать стала, но меня не проведешь.

Я охватила ее щеки ладонями, и мои пальцы стали влажными.

Она сказала виновато:

— Все о нем думаю, о Павлике. Может, он под Москвой, кто знает.

...Мы сидим с Дусей плечом к плечу. Кругом так тихо, спокойно, совсем как до войны. Светит солнце, и ветер раздувает Егоркины рубашонки, висящие на веревке.

Потом Дуся идет в дом, поглядеть на часы: в половине восьмого по нашей улице проходит почтальон.

Он высокий, еще крепкий на вид старик, с кожаной сумкой на боку, суровый и молчаливый, и на него глядят изо всех окон, и в каждом доме ждут его, боятся и ждут, а он идет прямо своей, одному ему известной дорогой.

Серафима Сергеевна, приходя домой, каждый раз спрашивает:

— Мне не было писем?

Узнав, что писем не было, она говорит:

— Писем нет — перед письмами; когда-нибудь все получим.

Уходя из дому, она не забывает напомнить:

— Если будет письмо...

И мы отвечаем ей:

— Да конечно же, само собой...

И вдруг мы видим — почтальон поворачивает к нашему бараку. Он идет прямехонько к нам. Еще десять, восемь, пять шагов, и он войдет в нашу калитку, он войдет в нашу жизнь, и уже никогда не забыть его походки, сумрачных глаз, черной сумки, в которой лежит еще никому не ведомый исписанный лист бумаги.

Он протягивает Дусе конверт:

— Передай своей хозяйке...

— А мне есть что-нибудь? — спрашивает Дуся, с надеждой глядя в его худое лицо. — Колотырина моя фамилия, Евдокия Петровна Колотырина.

— В следующий раз, Евдокия Петровна, — отвечает он и уходит. Сумка забита письмами доверху, надо поспеть раздать их все.

Слезы закипают в светлых глазах Дуси, но тут же высыхают.

— Дура я, ну в самом деле, откуда ему знать, какой мой адрес? Я же ему тоже не пишу, не знаю куда...

Я беру конверт из ее рук. Адрес написан крупными буквами, чернила лиловые.

«Пенза. Громадин тупик, дом 1а, С. С. Гусевой»

А внизу помельче:

«П/п № 19899».

— Как думаешь, это от Павлика? — спрашиваю я Дусю.

— Конечно. От кого же еще? Вот счастливая, дождалась-таки!

Я верчу серый конверт, даже нюхаю его — ничем не пахнет. И вдруг вспоминаю: солдатские письма — всегда треугольники. Обыкновенные треугольники, без марок. Мне уже не раз приходилось их видеть. А это конверт, да еще с маркой: танк, на танке надпись: «Смерть фашистским захватчикам».

Дуся тоже разглядывает конверт. Я понимаю — она думает то же самое, что и я. И мы обе молчим, потому что трудно, невозможно высказать то, о чем думаешь.

— Да нет,— говорит Дуся,— не может того быть.

— Конечно,— соглашаюсь я,— конечно, нет...

И верчу конверт, а она берет его у меня и тоже вертит.

— Давай прочитаем,— предлагаю я.

— Что ты! — пугается Дуся и чуть-чуть надрывает кончик.

— Постой,— говорю я,— ты не с того бока рвешь...

Дуся обижается:

— Сказала тоже...

Я выхватываю у нее конверт. Будь что будет. Но нам надо знать. Если это пишет Павлик, тем лучше, а если не он...

Все равно, мы должны знать, потому что...

Потому что надо знать всю правду.

Лист сероватой бумаги. Печатные буквы.

«Ваш муж П. Д. Гусев погиб смертью храбрых...»

Мы читаем, Дуся и я, читаем про себя четко напечатанные, до боли понятные слова, и я снова и снова перечитываю, все не могу окончательно поверить и почему-то машинально подмечаю запятую, вписанную чернилами, исправленную букву «х» в слове «храбрых».

Дуся сама о себе говорит:

— Я быстрая на слезы. У меня слезы близехонько.

Вот и сейчас она принялась плакать и причитать:

— Ой, да на кого же ты покинул ее, жену свою разлюбезную, ой, да как же это ты удумал, дорогой ты наш, заступник ты наш?..

— Перестань! — сердито говорю я.— Сию же минуту перестань!

Я никогда не видела его; на стене, над комодом, висит его карточка, небольшая, любительская: человек как человек, нос кар-

тошкой, волосы расчесаны на пробор, подбородок с ямочкой.

А она любила его. Теперь уже можно сказать — не любит, а любила. Он был для нее самым лучшим, самым красивым. Каждый день вспоминала о нем, говорила:

— Как же это так, чтобы он не выжил?

Только сейчас я поняла, как я к ней привязалась. Не знаю, любовь ли это, но я уже не могу без нее. Словно знаю ее с самого дня рождения. И я жду, когда она придет. И мне близки ее заботы.

И нисколько меня не коробят ее выражения, а она часто «пуляет» то одно, то другое словцо.

И сейчас я думаю, что-то с ней будет, когда она прочитает эти строки.

Мы с Дусей молчим. Даже Егорка притих, словно сознает — сейчас не до него.

Мы задумались и не слышим шагов. Это мама вернулась с дежурства. Она протягивает Егорке конфету в розовой обертке.

— Возьми, Егорушка, меня нынче наш ведущий хирург угостил.

— Мама,— говорю я и протягиваю ей письмо,— прочти...

Она читает. Усталое ее лицо сразу мрачнеет.

— Что же теперь делать? — спрашивает Дуся.— Как сказать-то?

— Нельзя! — взрываюсь я.— Разве можно сказать? И показывать нельзя!

Наверно, мама сейчас думает не только о Серафиме Сергеевне, но и о папе. Даже наверняка.

Дуся опять начинает плакать. И Егорка, глядя на мать, заливается ревом. Они оба быстрые на слезы.

Серафима Сергеевна приходит поздно, в одиннадцатом часу, но мы не спим.

Дуся вынимает чайник из-под подушки.

— Чай еще совсем горячий...

Я смотрю, как Серафима Сергеевна пьет кипяток, вытянув губы, блаженно вздыхая время от времени; капли пота блестят на ее лбу, а она пьет стакан за стаканом.

Потом начинает, как обычно, рассказывать.

Дом она присмотрела что надо. Раньше это был клуб. Конечно, нелегкое это было дело, получить такой дом, но она выцарапала, ребятам в нем будет очень даже удобно. И сад есть, не так чтобы очень богатый, но неплохой. Колхоз обещает молоко давать. Это уже что-то, только воспитателей мало, вот беда!

Она обращается к Дусе:

— Пойдешь к нам воспитателем?

И не слушая Дусиного ответа, продолжает:

— А парнишка тот, что самолетов боялся, от меня не отходит, тетей Серой меня кличет, такой чудак...

И смеется. Щурит глаза и смеется, а мы молчим. И она обрывает смех.

— Чего это вы все нахохлились? Или случилось что?

Мама улыбается, по-моему, чересчур широко.

— Да нет, ничего не случилось, просто все устали...

— Неженки,— замечает Серафима Сергеевна,— вы бы с мое сегодня побегали, что бы тогда запели?

И, загибая пальцы, начинает перечислять:

— Сперва в обком, оттуда в райфо, оттуда в колхоз на попутном грузовике, потом обратно в город, в роно, потом опять в обком, оттуда снова в райфо...

Так у нее изо дня в день.

— И хоть бы что,— говорит она.— И с ног не валюсь, потому Павлику, если хотите знать, куда труднее. Я иной раз как вспомню, каково ему, так мне все, что ни на есть, легко покажется...

Каждое ее слово — словно ножом режет.

А она еще берет карту и снова, в который раз, водя пальцем, начинает размышлять вслух:

— Конечно, может, он уже и в партизанах. Я слыхала, в Белоруссии очень много партизанских отрядов, вдруг услышим по радио: отряд товарища Г. А товарищ Г.— это как раз и есть он самый, Павел Дмитриевич Гусев. А может, он в Крыму, в Севастополе? Или на Кавказе?

Решительно отталкивает от себя карту.

— Чего гадать? Вернется, сам расскажет.

Она верит, верит, что он вернется, иначе и быть не может, но почему же глаза ее смотрят сейчас ушедшим в себя, никого не видящим взглядом?

Почему сдвинуты брови? Или она предчувствует что-то? Или вдруг представилось ей, что он не вернется...

Или это мне только кажется? Потому что я знаю больше, чем она?

Ночью я шепчу маме на ухо:

— Что с ней будет, когда она узнает?

— Пока что ничего говорить не надо,— отвечает мама,— пусть верит, надеется. В этом тоже счастье.

Она думает сейчас не только о ней, о себе. Она тоже хочет надеяться и верить.

— В конце концов бывают ошибки, написали, отправили письмо, а человек, как после оказалось, жив. Я в госпитале очень часто о таких случаях слышала.

— И я тоже слышала,— утверждаю я.— Такие случаи сколько хочешь...

Мы убеждаем друг друга, хотя никто из нас и не пытается спорить.

А Серафима Сергеевна спит. Спит крепким сном и не подозревает даже, что мы говорим о ней, что нам первым довелось узнать о том, о чем когда-нибудь она узнает. Когда-нибудь, не теперь...

Утром она встает, как всегда, раньше всех. Быстро кидает приказы:

— Отоварить сахар, на талоны дают повидло, взять керосин, выгладить белье, пойти за молоком для Егорки...

И, уже стоя в дверях, говорит на ходу:

— Если мне письмо будет...

Я оборачиваюсь, смотрю на маму. Мама глядит ей вслед, а она почти бежит по улице, привычно бодрая, готовая снова взвалить на себя все тяготы дня, еще не знающая о том, что ее ждет.

И мне становится страшно. Впервые я думаю о том, что это может случиться с папой, и мама тоже будет ходить в свой госпиталь, и дежурить там, и возвращаться с дежурства домой, и ничего-ничегошеньки не знать о том, что случилось с папой...

Мне до того жаль маму, что я беру мамину руку. Я крепко сжимаю узкую теплую ладонь.

Что бы сделать такого, чтобы она поняла, как я люблю ее, как боюсь за нее, как хочу хоть немного облегчить ее жизнь?

— Мама,— говорю я,— хочешь, я вымою пол? Так вымою, что он будет блестеть, словно зеркало?

Мама молча перебирает мои пальцы.

— Я буду всегда все класть на место,— говорю я.— Все, все. И когда вернемся в Москву, ты увидишь — стол у меня всегда будет в порядке, всегда, всегда...

И плачу. Я не хочу плакать, а слезы льются сами по себе, как будто я вовсе не хозяйка над ними.

Мама отвечает рассеянно:

— Очень хорошо. И пыль не забудь стирать...

А сама думает о чем-то другом. Я знаю, о чем...

СВЯТАЯ ЕЛЕНА — МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ

В тот день он вел амбулаторный прием больных.

Почему-то именно сегодня запах пота, несвежего белья, расширенные глаза больных, вопросительно, с надеждой смотревшие на него, их бесконечные вопросы, проникнутые одним — боязнью смерти и ненасытным желанием жить,— все это вызывало у него чувство, близкое к тошноте.

Отпустив больных и оставшись один в кабинете, он первым делом вновь и вновь стал ощупывать опухоль. Он накладывал на нее одну руку, потом другую, потом продолжал мять обеими руками.

Должно быть, сотни, а может, и тысячи раз ему приходилось обнаруживать подобные опухоли в чужом теле.

Иные больные погибали, если опухоль была запущенной, иные выздоравливали после операции; но раньше этот доскональный и вдумчивый осмотр носил все-таки в какой-то мере объективный характер. Безусловно, было жаль обреченного человека, но в привычный ход мыслей вклинивалось нечто профессиональное, должно быть присущее многим врачам: интересно, подтвердит ли рентген точность диагноза, можно ли будет оперировать или, кажется, уже опоздал?

Так было раньше. А теперь все было совсем по-иному. Теперь это касалось его, только его, никого другого.

На следующее утро, придя в больницу, он сразу же отправился в рентгеновский кабинет. Рентгенолог Мария Карловна, хорошенькая женщина — узкие черные глаза, черные, очень блестящие волосы, туго стянутые в пучок на затылке, возле маленького рта искусно подчерненная родинка — удивленно спросила его:

— Неужели, вопреки обыкновению медиков, решили провериться?

— Решил,— ответил Алексей Сергеевич.— Почему бы и нет?

— Нуте-с, друг мой,— сказала Мария Карловна, очевидно подражая кому-то, не известному Алексею Сергеевичу, и черные глаза ее приняли строгое, не свойственное ей выражение.

Держа перед лицом мокрую пленку, Алексей Сергеевич рассматривал ее на свет. Сомнений не было: снимок показал то, что он и предполагал.

Он почувствовал внезапную слабость в ногах и сел на стоявший рядом стул, не отводя глаз от зловещей тени на снимке.

Потом обернулся. Мария Карловна вместе с ним разглядывала снимок.

— Может быть, сделать повторный? — предложила она.

Он нашел в себе силы усмехнуться.

— Как хотите,— растерянно сказала она.— Только не надо расстраиваться, еще все поправимо...

И отвернулась, потому что стеснялась своей неумелой и неловкой лжи.

Он смотрел на нее, ничего не видя. Ее лицо вдруг сразу показалось черным, будто смазанным густой, иссиня-черной краской. Он встал и, стараясь держаться прямо, вышел из кабинета, чувствуя на себе ее взгляд.

«С горем следует переночевать, — думал Алексей Сергеевич, идя из больницы домой. — Переночуешь, глядишь, легче станет».

Он уговаривал себя. Но спокойствие не приходило. Разумом он понимал все. В конце-то концов когда-нибудь надо умереть, всему живому приходит свой черед, все на свете кончается, но сердце — непослушное, еще не изношенное сердце крепкого шестидесятилетнего человека — не желало смириться.

«Что лечил, тем и болею,— думал Алексей Сергеевич.— Вот оно как получилось!»

Ему, разумеется, приходилось в госпиталях и больницах видеть смерть людей, порой совсем молодых. Иной раз смерть избавляла от мук, но до сих пор не сумела прижиться в нем спасительная привычка к чужим страданиям.

Его друг, главный врач больницы Павлищев, говорил:

— Нам, медикам, следовало бы с самого начала сделать себе прививку против чувствительности и сентиментальности.

— Выходит, надо выработать в себе некий иммунитет, предохраняющий от излишних волнений? — сказал как-то Алексей Сергеевич, и Павлищев, обрадовавшись, что услышал подходящее слово, подхватил:

— Да, да, именно иммунитет!

Но Алексей Сергеевич не мог выработать в себе этот иммунитет, а вернее, не хотел. Больной, которого он лечил, оперировал, ставил на ноги или провожал в последний путь, становился ему таким близким, словно он знал его всю жизнь.

Должно быть, так получалось еще и потому, что Алексей Сергеевич был одинок; единственный сын погиб на фронте, жена на старости лет полюбила другого человека и ушла с ним.

И вот теперь он обнаружил у себя опухоль, которая, бесспорно, была неоперабельной, и все зловещие приметы ее, которые он старался не замечать раньше, словно бы разом, в один миг, ожили в его памяти. Он вспомнил все более частые в последнее время опоясывающие боли, странную, настигавшую внезапно слабость, дрожание в ногах, чувство удивительной опустошенности. Но он старался не обращать на это внимания, он был, как и большинство хирургов, совершенно не мнительным, и потому упрямо боролся с досадными ощущениями, забывая о них сразу же, как они исчезали.

Нет, он не хотел умирать. Он был просто-напросто не готов к смерти, ему еще надо было столько всего сделать, столько было намечено планов, столько незавершенной работы ожидало его!

Ему предстояло быть оппонентом при защите кандидатской диссертации его ученика, хирурга Яковлева. Диссертация, интересная по его мнению, должна вызвать споры и даже возражения, и он почитал своим долгом выступить.

Но самое главное — он работал над книгой, в основу которой легла его докторская диссертация. Книга была задумана давно, посвящалась оперативному лечению заболеваний желчных путей и печени.

Одним словом, умирать ему было, как говорится, не ко времени. Да, совсем не ко времени...

Он не успел открыть дверь своей квартиры, как зазвонил телефон. Он узнал в трубке рокочущий бас Павлищева.

— Алешка,— сказал Павлищев,— у меня предложение. Бери машину — и прямиком ко мне.

— К тебе? — переспросил Алексей Сергеевич.— Я только что из больницы вернулся.

— Ну и что? — сказал Павлищев. — У меня же, такой-разэтакий, переночуешь. Посидим, покалякаем, а утром вместе в больницу.

Голос Павлищева звучал беззаботно и весело, так весело, что Алексей Сергеевич сразу догадался: ему все известно.

Павлищев сам открыл ему дверь и на цыпочках, осторожно шагая, потому что весь дом спал, провел в свою комнату.

Петр Михайлович Павлищев был из породы богатырей, рослый, косая сажень в плечах, с большим краснощеким лицом, с зычным голосом и ослепительными зубами — ни одного вставного, все свои.

Расстегнутая домашняя куртка открывала крепкую шею и часть груди, заросшей волосами. Глаза под мохнатыми бровями искрились.

Алексей Сергеевич посмотрел на него с завистью. Павлищев был здоров и весел. Ничто ему не грозило, ни одна болезнь не смела коснуться его сильного, мускулистого тела.

Видимо, Павлищев сразу разгадал его мысли, потому что спросил без обиняков:

— Как думаешь, Алешка, это окончательно? Не ошибаешься?

— Ошибки быть не может,— ответил Алексей Сергеевич.— Сегодня я видел снимок.

— Знаю. Мария Карловна давеча примчалась ко мне, я уже уходил, с полдороги вернула...

Павлищев помолчал, прикусив толстую нижнюю губу.

— А как себя чувствуешь?

— В том-то и дело...— сказал Алексей Сергеевич.

— Слушай,— предложил Павлищев.— Давай я тебя посмотрю.

— Стоит ли? — Алексей Сергеевич машинально расстегивал пуговицы сорочки.

— Да ну тебя,— притворно рассердился Павлищев.— Стоит не стоит, такой-разэтакий, лучше ложись! Вот сюда, на диван!

Он долго, старательно мял живот Алексея Сергеевича. Его толстые, пахнущие табаком и одеколоном пальцы, казалось, проникали в самые тайники тела, где глубоко пряталась боль. Он пыхтел, сопел, хмурился, на мясистом лбу поблескивали капли пота. Потом вытер руки, сказал коротко:

— Вставай!

— Мне печень не нравится,— сказал, приподнявшись с дивана, Алексей Сергеевич.

Павлищев кивнул:

— Мне тоже.

Алексей Сергеевич оделся, аккуратно зачесал назад редкие, прямые волосы.

— По-моему, дошло до печени.

— Возможно.— Павлищев посмотрел Алексею Сергеевичу в глаза: — Что будем делать, Алешка?

— Не знаю. Еще не придумал.

— Давай думать вместе.

Павлищев сел за массивный, чем-то напоминавший его самого письменный стол, взял в руки карандаш-великан, который казался игрушечным в его толстых пальцах.

Алексей Сергеевич молча разглядывал его большое, разом помрачневшее лицо.

Они были связаны давней дружбой. Вместе учились когда-то в

университете, вместе практиковали в сельской больнице, потом, почти одновременно, защитили диссертации — это было уже после войны, когда оба перешли работать в эту больницу.

В течение многих лет они привыкли все называть своими словами, не таясь и не прячась. И теперь в открытую говорили друг с другом.

Оба ясно представляли себе то, что предстоит пережить одному из них, думали, искали выход и не находили его.

— Хочешь, ложись дня на три, проверься,— предложил Павлищев.

Алексей Сергеевич пожал плечами:

— К чему? И так все ясно.

— Надо бы кровь посмотреть, позондировать, ну и всякое там...

— А! — Алексей Сергеевич махнул рукой.— Все это в моем случае бесполезно и ненужно.

— Думаешь...— начал Павлищев. Вдруг оборвал себя, прислушался. Маленькие глаза его просветлели.— Внучка у меня гостит, Алькина дочь. Такая девка смешная. Завела себе привычку — поет во сне. Слышишь?

Алексей Сергеевич послушал.

— Ничего не слышу.

— Ты всегда был тугоухий. Девка — прелесть, вся в меня.

Алексей Сергеевич засмеялся:

— От скромности не умрешь.

— Нет, правда,— продолжал Павлищев.— Можешь себе представить, трех лет еще нет, а уже, такая-разэтакая, спрашивает: «Деда, почему ты не космонавт? Боишься? Или не берут?»

— Алька, наверное, еще красивее стала? — спросил Алексей Сергеевич.— Я ее давно не видел.

— Красавица,— убежденно произнес Павлищев.

У Павлищева было трое детей от первой жены, двое от второй. Старшая, Алевтина, была его любимицей. Она жила с мужем в Норильске и раз в три года приезжала всей семьей погостить к отцу.

Улыбка медленно гасла в глазах Павлищева. Постукивая карандашом, он спросил уже другим тоном:

— Резаться будешь?

— Нет,— сказал Алексей Сергеевич.— Поздно.

— Да, похоже,— согласился Павлищев.— Я бы тоже не стал.— Вынул из тумбочки стола начатую бутылку коньяку, две рюмки.

— От своей мадамы прячу. Она мне не разрешает.

— Суровая дама,— заметил Алексей Сергеевич.

— Не говори, но я все равно хитрее её.

Павлищев наполнил рюмки, негромко ахнул и опрокинул коньяк в рот. Щеки его раскраснелись еще сильнее, лоб блестел, словно лакированный.

— А тебя, Петро, ни один черт не возьмет,— искренне любуясь им, сказал Алексей Сергеевич.

Павлищев, как бы стесняясь своей силы, неизбывного здоровья, слегка наклонил голову.

— Все до поры до времени, Алешка.

— Знаю.

— А коль знаешь, давай еще по одной!

Он налил коньяку себе, долил Алексею Сергеевичу и так же быстро, одним махом, выпил до дна.

Алексей Сергеевич отхлебнул немного, отставил рюмку.

— Почему не пьешь? — спросил Павлищев.

— Чересчур для меня крепкий.— Алексею Сергеевичу не хотелось признаться, что его слегка подташнивает, а от глотка коньяку тошнит еще сильнее.

— А я люблю на сон грядущий пропустить рюмочку. Сразу голова яснеет. Дел, сам знаешь, невпроворот. Сегодня наконец-то утвердили нам реконструкцию неврологического, на будущий год займемся твоим отделением. Архитекторы, такие-разэтакие, грозятся чудо из чудес в хирургическом сделать, тут тебе и кафель чешский, и боксы стеклянные, и операционные, словно зал концертный. Увидишь — глаз не оторвешь. А потом еще два корпуса построим, урологический и травматологический...

Павлищев увлекся, на минуту позабыл обо всем, позабыл о друге, сидевшем напротив него, которому вряд ли доведется увидеть все то, о чем он говорит. Он поймал взгляд Алексея Сергеевича. Взгляд был спокойный, внимательный, без тени насмешки. Алексей Сергеевич понимал: живой думает о живом, так положено на земле...

— Хочу взять отпуск, Петро,— сказал Алексей Сергеевич.— Прямо с завтрашнего дня...

Павлищев сдвинул мохнатые брови.

— Что так? Ты же совсем недавно отдыхал.

— Хочу,— упрямо повторил Алексей Сергеевич.

Павлищев чертил карандашом по листу бумаги. Не поднимая глаз, сказал:

— Заскучаешь без работы. Одному оставаться трудно...

— Мне надо книгу закончить.

— А как, кстати, с диссертацией Яковлева?

— Приду непременно.

— Ладно! — Павлищев стукнул карандашом по столу.— Как знаешь. Отпуск так отпуск.

— Давай спать,— сказал Алексей Сергеевич.— Тебе завтра вставать в половине седьмого.

Он не спал всю ночь, ворочаясь с боку на бок на широком, изрядно колючем от выпиравших пружин диване. Нескончаемо ныла печень, а когда клал руку на живот, то привычно ощущал плотную, слегка болезненную опухоль.

В тишине ночи, как бы со стороны, он смотрел на себя, пораженного тяжким, неизлечимым недугом. Тело его было подобно механизму. В нем все было великолепно согласовано, одно зависело от другого. И все вместе подчинялось единой могучей силе, силе, для которой он не мог придумать точного слова.

И вот в этом превосходно организованном механизме появилась брешь, и ничто на свете не могло спасти его от неминуемого конца.

«Сколько мне жить осталось? — думал Алексей Сергеевич.— И каковы они будут, эти самые, последние дни?»

Он встал рано. Еще все спали в большой, просторной квартире Павлищева. Ему не хотелось никого видеть, не хотелось слышать веселые, полные радости жизни голоса детей. Мысленно представил властный взгляд и седые, высоко взбитые волосы «мадамы» — жены Павлищева — и решительно поднялся с дивана.

И в самом деле, с горем надо было переночевать. Это он понял, оставшись один у себя дома.

Он принял душ, вскипятил чайник и, хотя есть совсем не хотелось, заставил себя выпить стакан очень крепкого чая и съесть сухарь с маслом.

Печень перестала болеть, но он знал — это ненадолго, боль все равно возьмет свое, пройдет какое-то время, и она вспыхнет с новой силой.

Он не позволял себе распускаться, умел держать себя в руках, и ему было нетрудно заставить себя сесть к столу и работать.

Он писал быстро, иногда останавливался ненадолго и снова продолжал писать.

Потом опустил ручку, задумался. Что теперь делается в больнице? Должно быть, уже провели утреннюю конференцию и заканчивают обход.

Петро обходит палаты,— белый халат накрахмален до синевы, седые волосы расчесаны на косой пробор. Он знает, что выглядит импозантно: голова откинута назад, брови играют, широкое му-

жицкое лицо хмуро-задумчиво. Ох, Петро, любит-таки показать себя! Не оборачиваясь, протягивает руку, берет у врача историю болезни, бегло проглядывает ее, потом садится на койку больного. И к каждому у него свой подход. Кого выругает простецки, кого осторожно расспросит, с кем поговорит по-свойски. Живописный человек Петро! Есть в нем этакое, непринужденное обаяние, какая-то широта натуры, угадываемая сразу. Недаром больные благоговеют перед ним и всегда ждут, когда он появится в окружении врачей и сестер — ни дать ни взять командующий фронтом со своими адъютантами.

В седьмой и пятнадцатой палатах лежат больные Алексея Сергеевича. Те, кого он лечил, наблюдал, оперировал, о чьих болезнях писал в своей книге.

Он старался не думать, не вспоминать о них, а мысли упрямо поворачивали туда, в белую тишину палат, где за окном стоят липы и вечерами высоко под потолком горит неуютная лампочка без абажура.

Его больные. Их шесть. Трое уже выздоравливают после операции, четвертый — Сережа Фогель, ясноглазый, русоволосый юноша,— как будто бы уже справился со своим панкреатитом.

А вот с Семеном Петровичем Пекарниковым дело обстоит сложнее. У Семена Петровича камни в желчном пузыре, его надо оперировать, а сердце не в порядке, сердечная мышца ослабла, возникает время от времени одышка и сердцебиение. Но операцию больше невозможно оттягивать.

Семен Петрович хотел, чтобы его оперировал только Алексей Сергеевич. Он говорил:

— Я долго ждал, чтобы попасть к вам...

Ничего не поделаешь. Теперь его может взять сам Павлищев. Хирург хоть куда, поистине золотые руки. К тому же любит оперировать желчный пузырь, у него эти операции получаются, как он говорит, художественно.

Для врача, естественно, все больные одинаковы, но сердцу не прикажешь: Алексею Сергеевичу чисто по-человечески одни были симпатичны, другие — нет. Ему, например, нравились светлые, всегда улыбающиеся глаза Сережи Фогеля, Сережин голос, нравилось шутить с ним, а вот Пекарников ему не нравился, и он боролся с собой, чтобы Пекарников не понял, как неприятны его суетливость, назойливые расспросы все об одном и том же — о том, как пройдет операция, и будет ли он совершенно здоров, и сколько времени займет операция, и сколько времени будет длиться после-операционный период.

Не только врачей и сестер, но даже больных, которые, как

известно, любят поговорить о своих недугах, раздражали обстоятельные рассказы Пекарникова о своем состоянии и ощущениях.

Он заведовал аптекой, а потому считал себя сведущим в медицине, врачей называл «коллегами» и пересыпал свою речь медицинскими терминами; говорил вместо «больно» — «болезненно» и вместо «покраснение» — «гиперемия», а вместо смертельного исхода употреблял выражение — летальный исход.

Он был невероятно мнителен, поминутно щупал пульс, прислушивался к своему дыханию и говорил взволнованно:

— У меня страшная тахикардия с перемежающейся экстрасистолой...

Интересно, что скажет Пекарников, когда узнает, что его будет оперировать другой врач, не Алексей Сергеевич?

Мужик он скандальный, эгоцентрик, трясется над своей драгоценной особой, то-то поднимет бучу!

На миг Алексею Сергеевичу стало неловко перед самим собой, и он устыдился своей неприязни, которой врачу следовало избегать. Ведь сам же учил своих учеников: «Для врача нет врага и нет друга. Для него существует только одно — больной человек, который ждет помощи и лечения».

Он собрал исписанные листы, положил их в папку.

Надо будет еще подумать, прежде чем начать новый раздел, посмотреть некоторые книги, особенно последний труд академика Старцева.

Нужные книги находились в соседней комнате, в книжном шкафу. Это была маленькая, скудно обставленная комната: узенькая тахта, старинный книжный шкаф, принадлежавший еще отцу Алексея Сергеевича, крохотный письменный стол. На стене, во всю ширину,— географическая карта.

Здесь жил сын, вплоть до того дня, когда ушел на фронт.

Он не часто вспоминал о нем. Вернее, заставлял себя вспоминать о нем не часто. Это была как бы защитная реакция от неминуемой боли, появлявшейся каждый раз при мысли о сыне.

А теперь он ничего уже не боялся. Теперь он разрешил себе вспоминать мальчика таким, каким тот был.

Митя пошел в него — худой, узкоплечий. Бледное лицо, темные горящие глаза. Тяжелые веки. На вид — типичное профессорское дитя, неженка, баловень семьи, а на самом деле своевольный, самостоятельный, не признававший над собой никакой опеки.

Любил делать все по-своему. Своими руками. Только своими. Даже дырки на носках зашивал сам и не разрешал матери стирать ему трусы и майки.

— Я сам,— говорил он.

«Я сам» — эти два слова определяли сущность мальчика. Только сам, так, как он хочет, как умеет. Ни у кого не просил помощи, даже у отца.

С детства увлекался книгами о приключениях на суше и на море, став старше — пристрастился к мемуарам. Особенно любил мемуары великих полководцев, знаменитых политических деятелей.

Порой признавался отцу:

— Хочу быть изобретателем. Или генералом. Или летчиком первого класса!

Ему хотелось все сразу — изобретать, водить самолеты, строить дома, командовать армией.

Да, командовать армией. А на фронт ушел добровольцем, солдатом.

Алексей Сергеевич вспомнил этот день — 27 июля. Прошел только месяц с начала войны.

Митя сказал:

— Весь наш курс подал заявления, а взяли всего лишь шестерых.

— Тебя тоже? — спросил отец.

Митя ответил с гордостью:

— Да, меня тоже. Завтра утром, в восемь ноль-ноль.

Он учился тогда в архитектурном институте, сперва учился на филологическом факультете МГУ, потом бросил, со второго курса ушел в архитектурный.

Очень он был разбросанный. Все никак не мог подобрать себе дело по душе. Кто знает, вернись с войны, не пошел ли бы он на курсы шоферов, или в институт кинематографии, или в военную академию?

Пусть бы его шел куда хочет, только бы вернулся...

Однако любовь к мемуарам продолжала в нем жить все годы. Особо полюбившиеся ему места он выписывал в тетрадь.

Алексей Сергеевич вспомнил эту тетрадь — толстую, прошитую по краям суровой ниткой, в дерматиновой светло-коричневой обложке.

Когда жена ушла от него, она взяла тетрадь. И немногие письма Мити с фронта тоже забрала. Не оставила ему ничего.

Жестокая женщина. И взбалмошная. Всегда была взбалмошной. Вдруг на пороге своей полсотни взбесилась: «Я не могу без любви». И ушла с каким-то прохиндеем. Моложе ее на добрый десяток лет.

Странные все-таки существа эти женщины! Убивалась о сыне, говорила, что жизнь ее кончена, и вот прошло несколько лет, всего лишь несколько лет, и влюбилась, бросила все, ушла.

Ну и пусть. Довольно о ней. Не стоит.

Тогда, в тот жаркий июльский день, сын спросил его:

— А ты что будешь делать, папа Алеша?

Он называл его с детства «папа Алеша». Так и осталось до последнего дня.

— Уезжаю с госпиталем на Урал.

— Когда?

— Наверно, в ближайшие дни.

Сын посмотрел на свою короткую, не по его росту, тахту, на письменный стол, на шкаф, в котором стояли любимые книги, словно прощался со всем этим привычным бытием.

Потом подошел к географической карте.

— Знаешь, папа Алеша, а я вспомнил сейчас, ведь по географии у меня всегда были пятерки.

— Знаю,— сказал Алексей Сергеевич.— Зато по математике случались тройки.

— И так бывало.

Сын наклонился, разглядывая что-то на карте.

— Посмотри, видишь, остров?

— Что за остров?

Сын очертил пальцем маленькую точку в Атлантическом океане.

— Святая Елена. Здесь умер Наполеон.

— Ну и пусть его,— равнодушно заметил Алексей Сергеевич.— К слову сказать, неужели ты полагаешь, что я не знаю, где он умер?

— Не все знаешь,— сказал сын.

Вынул из ящика стола свою тетрадь, перелистал ее.

— Вот что написано в одной старинной книге. Послушай, по-моему, очень интересно.

— Что такое?

Сын прочитал:

— «В школьной тетради Наполеона было написано его рукой, когда будущему полководцу было пятнадцать лет: «Святая Елена — маленький остров».

Поднял глаза на отца. Горящие, молодые, ясные глаза.

— И все. И больше ни одного слова! Можешь себе представить, ни один историк, ни один самый большой ученый до сих пор не могут разгадать, почему Наполеон написал так. Что это, предчувствие будущего, предсказание самому себе?

У Алексея Сергеевича был скептический склад ума. И он спросил откровенно:

— Может быть, это фальшивка?

— Нет,— сказал сын.— Историки подтвердили, тетрадь подлинная, и почерк Наполеона, это установлено точно.

Заложив обе руки за голову, он не отрывал глаз от темневшей на карте точки.

— Интересно, о чем он думал тогда, когда сидел там, в изгнании, брошенный всеми?

— Кто? Наполеон?

— Да.

— Не знаю,— сказал Алексей Сергеевич.— И признаться, знать не хочу.

Митя даже обиделся.

— А я хочу знать. Я и сейчас, кажется, вижу маленький остров, что-то вроде Геленджика, хотя Геленджик и не на острове, помнишь, мы были там два года назад? Пальмы, пустынный берег и море. Большое море. А далеко за морем — Франция. И он сидит на берегу, думает о чем-то, бросает камешки в море, вот так, скажем, как я бросал, и вспоминает Францию...

— А может, Россию, откуда бежал чуть ли не в одних исподних? — насильственно улыбаясь, спросил Алексей Сергеевич.

Неизвестно почему, его раздражал этот разговор. Словно больше не о чем говорить в такой день, только о Наполеоне.

Сын сказал уверенно:

— Нет, он вспоминал о Франции. Или, может быть, о том, что когда-то, много лет назад, написал в своей тетради эти странные слова? Правда?

— Не знаю. Может, и так.

— А ведь он не ошибся,— сказал сын.— Это совсем маленький остров.

— Митя,— сказал отец,— надо будет вынуть из чемодана зимние вещи. Возьмешь с собой свитер и шерстяные носки.

Укоризненно посмотрел на сына. Ничем его не отрезвишь, ничем не проймешь.

Сын произнес задумчиво:

— Должно быть, хорошо быть историком. Вдруг отыщешь какое-то пожелтевшее письмо, а там пусть даже несколько слов, и вот думаешь, гадаешь, кто написал их, о чем они, о ком, что означают.

Алексей Сергеевич усмехнулся:

— Чудак человек, сам же захотел быть архитектором. Никто тебя не неволил!

Сын не слушал его.

— И археологом тоже здорово. Роешь какой-нибудь курган, копаешься в нем, и вдруг найдешь саблю, а сабле этой без малого тысяча лет...

Задумчиво посмотрел в раскрытое окно.

— Я — жадный. Мне все хочется сразу. Вот вернусь с фронта,

начну изучать по порядку историю, археологию, геологию...

Он верил, что будет жить.

Отец произнес поучительно:

— Не надо разбрасываться, надо уметь с самого начала выбрать себе любимое дело.

Если бы вернуть этот день, если бы снова услышать голос сына, увидеть его лицо, он бы нашел другие, совсем другие слова...

Вечером Митя отправился на дачу. Мать жила на даче, под Москвой. Отец сказал ему:

— Не говори, что идешь воевать. Скажи — отправляют на трудфронт.

Сын ответил:

— Она не поверит.

Он вернулся ночью. Отец не спал, ждал его. Сын казался совсем мальчишкой: трикотажная голубая майка с короткими рукавами раскрыта на груди, спортивные тапочки покрыты пылью.

— Мама сразу догадалась,— сказал он.— Как только увидела меня, сразу...

— Она приедет? — спросил отец.

— Утром, с первым поездом. Я-то ведь пешком шел, до самых Люберец, а оттуда грузовиком, шофер попался сговорчивый, довез почти до дому.

Утром он вместе с женой провожал сына. Было жарко, июльский зной — в разгаре, пыльные деревья во дворе стояли недвижно, как бы распятые солнцем.

Жена сказала:

— Сядем на дорожку, чтобы все было хорошо.

Они сели. Сын — на тахту. Алексей Сергеевич и жена — на стулья.

Сын встал первый. Вынул красный карандаш из кармана, обвел им точку на карте. Выразительно глянул на отца.

— Маленький остров,— сказал он.— Совсем маленький остров.

И отец кивнул ему, словно обещал хранить тайну, известную только им двоим.

До сих пор на карте краснеет кружок, двадцать лет тому назад обведенный карандашом.

Алексею Сергеевичу вспомнилось: когда-то они с Митей поехали на месяц в Геленджик, жили там на окраине, в приземистом, горячо и ярко освещенном солнцем домике, окнами в сад.

В саду — грецкий орех, акация и сливы, много деревьев с красными и синими сливами. Митя ложился на траву, пригибал к себе ветку, губами срывал с ветки сливы.

С утра шли на пляж, лежали на берегу блистающего под солн-

цем моря. Пена у самого берега. Пройдет катер, оставит за собой разъяренные волны. Митя вскочит, побежит купаться, подпрыгивая на бегу,— раскаленные камни больно жгут ноги.

Искупавшись, начинал бросать камешки в море. Камешки по нескольку раз взлетали, падали, ударялись о волны и снова взлетали. Так умел бросать один лишь Митя. Он почернел от загара, только впадинка на горле белела незащищенно. Смуглые руки в золотистых, выгоревших начисто волосках.

До чего ясно помнится жаркий, светоносный мир зеленого городка на берегу Черного моря!

Может, и правда, похож чем-то Геленджик на Святую Елену?

Алексей Сергеевич прижался щекой к карте.

— Митя,— сказал он нежно и горько.— Как же так, Митя?..

Он писал всю ночь. Увлеченный работой, забыл обо всем, благо печень молчала и не было опоясывающих болей.

Лишь изредка, когда думал над каким-нибудь предложением, он отрывался от работы, и тогда руки его начинали непроизвольно ощупывать опухоль.

Он сердился на себя, сколько можно проверять одно и то же?

А пальцы сами тянулись к тому плотному, чужеродному, что грубо вклинилось в его тело, и он нажимал — сперва одним пальцем, потом двумя, потом всей ладонью, пытаясь определить его границы.

Вот она, он ощущает ее, казалось бы, всем существом, она живет, дышит вместе с ним, питается его соками и растет, жадно, неукротимо растет.

Он сам себе поставил диагноз и знал, что не ошибся, и не пытался спрятаться от того, что ожидало его.

В прошлом году он оперировал старого знакомого, доктора Когана. Рак желудка с метастазами в печени.

Когану было шестьдесят четыре года. Отличный диагност, умница, острослов. Упрямый, как бес. Каждый день находил у себя все новые и новые болезни: то воспаление поджелудочной железы, то доброкачественную опухоль в толстой кишке, то, неожиданно, цирроз печени.

На все был согласен, только не на то, что у него было. Даже думать об этом не хотел. Говорил:

— Давай действуй скорее, у меня дел много, на даче посадки ждут, и клубничные усы надо пересаживать. Совсем у меня клубника выродилась.

— У тебя хорошая дача? — спросил Алексей Сергеевич.

Коган даже захлебнулся от восторга.

— Чудо! Кругом лес, озеро в лесу, а участок — сплошь сосны и яблони.

Надеялся выздороветь. Утверждал:

— Я — больной не подопытный, а просто опытный. Все сам знаю. Как лягу на стол, начну командовать!

Да, опытный больной, врач, а до конца не верил, что у него может быть такое. У кого другого, только не у него.

Алексей Сергеевич вскрыл и тут же зашил полость. Ничего нельзя было сделать.

Каждый день приближал больного к концу. Врачи говорят о таких: «быстро утяжеляется».

Алексей Сергеевич пробовал развлечь его, вспоминал о старых друзьях, о госпитале, в котором вместе работали. Коган молчал, плотно закрыв глаза.

— Поправишься, я к тебе на свежую клубнику приеду.

Коган ничего не ответил, только, приоткрыв глаза, взглянул на него. Что было в этом взгляде?

Павлищев сказал как-то:

— Я первый поставлю себе диагноз. Меня не проведешь!

Алексей Сергеевич вспомнил Когана:

— Врачи часто ошибаются, когда сами себе ставят диагноз.

— Они хотят ошибиться,— сказал Павлищев.— Не желают верить, и баста. А есть такие, что все понимают.

И привел в пример академика Павлова. К нему пришел кто-то, Павлов не пустил к себе, просил передать: «Павлов занят, Павлов умирает».

«А я мог бы сказать так?» — подумал Алексей Сергеевич.

И решил: нет, не сумел бы. Даже наверняка не сумел бы.

На рассвете он почувствовал боль в правом боку. Боль входила неторопливо, с обдуманным ехидством, постепенно вонзаясь, словно узкое лезвие ножа.

Он положил руку на бок, но боль не проходила, становилась все злей, все настойчивей. Теперь уже не заснуть.

Он встал, вышел на кухню, вскипятил воду для шприца и впрыснул себе промедол.

«Сейчас засну,— подумал с удовольствием.— Часа на четыре сон обеспечен».

Лег в постель, натянул повыше одеяло. Отныне с каждым днем это будет становиться правилом: колоть себе пантопон, морфий, промедол, чтобы вырвать у боли хотя бы несколько часов сна.

А что будет потом, когда он уже не сумеет сам впрыскивать,

не найдет в себе сил вскипятить воду, направить шприц твердой рукой?

Что думать об этом! Как будет, так будет. В конце-то концов есть много выходов, и можно всегда отыскать один, самый надежный.

Его разбудил телефонный звонок. Он приоткрыл глаза, посмотрел на часы. Без четверти два. Стало быть, спал не меньше пяти часов. Прекрасно!

Телефон продолжал звонить. Он взял трубку. Звонил Павлищев. Казалось, от его громкого голоса даже телефонная трубка излучает некий озон бодрости.

— Как дела, Алешка? — спросил Павлищев.

— Неплохо,— ответил Алексей Сергеевич. Он не лгал. Боль и в самом деле утихла.

— Вот и отлично. Слушай, такой-разэтакий, хоть ты и в отпуске, но, думается, он у тебя недолго продлится.

— Почему бы?

— Вообще-то дел много, сам знаешь,— сказал Павлищев.— Но главное, тут один тип, так он ни в какую. Говорит, чтобы только ты его резал! Клянет тебя на чем свет стоит.

— Пекарников?

— Он самый. Такой, знаешь, характерец.

— Да ну его,— с досадой сказал Алексей Сергеевич.— Мне, по совести говоря, не до его характера.

— Я понимаю,— согласился Павлищев.

— Может быть, ты, Петро, возьмешься?

Павлищев засмеялся:

— Да со всей бы охотой, а он ни за что: ты, и никто другой!

— Я болен,— сказал Алексей Сергеевич чуть холоднее, чем хотелось.— Ты знаешь, я болен, не могу...

— Отдыхай,— ответил Павлищев.— Я к тебе, наверное, завтра заеду.

«В чем истоки эгоизма? — думал Алексей Сергеевич, глядя в окно на деревья, покрытые первым, непрочным, тающим снегом.— На чем держится убежденность человека, что его личность превыше всего? На сознании своих необычайных достоинств? На безмерной любви к собственной особе? Или эта особенность присуща каждому, только в разной степени?»

Задумчиво сощурил глаза.

Мысли не глубокие и не новые. Разве и ему самому чужд эгоизм? Разве он сам в первую очередь не думает о себе, только

о себе, и потому знать ничего не желает и не хочет выполнять свой долг?

Между прочим, до чего по-газетному сухо звучит: «выполнять свой долг». Словно заголовок передовой статьи.

«Но я же болен,— мысленно запротестовал он.— Я тяжело, неизлечимо болен».

Тут же исподволь подкралась мысль:

«А разве Пекарников не болен?»

Да, он болен, но у него, наверное, все обойдется, все кончится благополучно, он будет жить, он еще доставит своим близким немало беспокойства. Что-что, а доставлять беспокойство Пекарников умеет. И делает это с толком, со вкусом.

Ему снова стало совестно. Так подобает думать склочной бабе в коммунальной кухне, а никак не ему, врачу.

И, досадуя на самого себя, он снова сел к столу. Надо писать, пока боль опять не схватила его.

Уже стемнело, и длинные тени легли за окном на грязный, клочковатый снег. По мостовой проезжали автобусы, загорались и гасли фары машин. Не то накрапывал дождь, не то шел мелкий, быстро таявший снег.

Алексей Сергеевич положил ручку, размял слегка замлевшие пальцы.

На сегодня хватит! Надо оставить что-то и на завтра.

Было тихо в квартире. Так тихо, что он слышал, как равномерно тикают ручные часы.

Он почувствовал, что устал. Он понимал, что его утомила не так работа, как внезапный, резкий переход от деятельного шума больницы к спокойной, устойчивой тишине дома.

Он не представлял себе, что это окажется не самым для него легким. Нет, не представлял. Но он не вернется, у него нет сил продолжать привычную жизнь. И потом, он должен торопиться, надо закончить книгу, а времени осталось мало.

Захотелось ненадолго выйти на улицу, окунуться в шум вечернего города, увидеть людей, вдохнуть осенний воздух пополам с дождем и туманом. Он погасил настольную лампу, вышел из комнаты. И тут он услышал звонок, отрывистый и негромкий.

Он открыл дверь и увидел женщину, одетую в красное пальто. Шляпка на ее голове была немного сдвинута набок. Невольно он отметил про себя: смешная шляпка, совсем как опрокинутый горшок. Да еще ни к селу ни к городу — бант!

— Я к вам, доктор,— сказала женщина.

Голос у нее был вкрадчивый, она сложила на груди руки, шагнула прямо на него.

— Я умоляю, примите меня...

Алексей Сергеевич чуть отступил от нее.

— Пожалуйста,— сказал он.— Проходите.

Она сидела напротив него в кресле, и он с откровенным любопытством разглядывал ее. Так вон она какая, жена Пекарникова!

Ей не довелось повидать его раньше, она болела ангиной, а теперь, поправившись, решила незамедлительно обратиться к нему. Ей сказали, что он чем-то заболел, но она уверена, что все пройдет, все будет хорошо, он и выглядит на все сто долларов, никак не меньше и, конечно, все будет превосходно, и он снова будет царить в хирургическом отделении, где все молятся на его мудрейшие руки. И еще много говорила она сладких, обволакивающих слов, улыбалась ему и время от времени касалась его руки холодными, с улицы, пальцами.

Ей было, должно быть, лет сорок. Одета в красное, как и пальто, платье, решительно не подходившее к ее возрасту ни цветом, ни фасоном.

Однако ее нельзя было назвать некрасивой. Черты лица довольно правильные, яркие губы, округлая линия щек. Густые волосы красивого рыжеватого оттенка. Наверно, крашены хной. Ее портили лишь близко поставленные глаза с бегающим, суетливым взглядом и слегка выступающие зубы.

Он молча слушал ее, а она продолжала быстро говорить, не спуская с него беспокойного, напряженно искательного взгляда.

Ее муж взволнован, больше того, он просто-напросто убит. Он ждал столько времени направления именно в его больницу, чтобы попасть к нему, к непревзойденному мастеру хирургии: он надеялся, он верил, что операция, произведенная руками Алексея Сергеевича, принесет ему долгожданное исцеление, и он слышать не хочет, чтобы его оперировал кто-то другой, пусть даже самый знаменитый маг и кудесник!

Алексей Сергеевич внутренне морщился. Сколько ненужных слов, книжных, ненатуральных оборотов — «принесет долгожданное исцеление», «непревзойденный мастер хирургии», и все это сдобрено такой безвкусной, нескрываемой порцией лести!

Даже замутило слегка, словно его заставляли настойчиво, стакан за стаканом, пить какой-то очень сладкий, густой напиток.

Пристально разглядывая свою ладонь, он спросил ее:

— Кем вы работаете?

Она остановилась на полуслове.

— Почему вы спрашиваете, доктор?

— Просто интересуюсь, какая у вас специальность.

— Я — ведущая,— сказала она.— Веду концерты, выступления

мастеров искусств...— Невыразимо нежная улыбка растянула ее губы.— Если вы захотите, всегда, на любой концерт, самое лучшее место.

— Будет вам!

Он даже рукой махнул, как бы отметая от себя ее слова.

Она испуганно посмотрела на него. Должно быть, вдруг поняла, что на него не действуют ее мольбы, ласковые, затейливые слова, и разом сникла.

— Помогите, доктор,— сказала просто. Губы ее дрожали, но она старалась говорить спокойно.— Он очень больной человек, пожалейте его!

— Я сам болен,— сказал Алексей Сергеевич.

Она придвинулась ближе к нему.

— Я... я не знаю, что будет! Он такой упрямый, он ни о ком другом даже слышать не хочет.

— Я болен,— повторил Алексей Сергеевич.

Она заплакала. Рот ее скривился, по щекам текли слезы, наверно, она не знала, что сейчас ее лицо, уставшее от улыбок, стало милее, даже моложе.

— Перестаньте,— сказал Алексей Сергеевич.— Ну что это вы в самом деле?

Он налил ей стакан воды, с усилием втиснул стакан в руку. Он не выносил женских слез, испытывая каждый раз чувство вины и какой-то невольной, совершенной им ошибки.

Она пила воду большими глотками. Потом крепко вытерла ладонью глаза.

— Что же я скажу ему? — спросила она.— Что я скажу ему теперь?

Алексей Сергеевич представил себе, как она придет к мужу и скажет о том, что доктор отказался наотрез. Он даже предвидел, каков будет этот разговор, и почти сочувственно посмотрел на нее. Конечно, Семен Петрович обрушится на жену. Такие люди всегда ищут, к кому бы прицепиться. А напасть на жену, в сущности, самое для них удобное и безопасное.

— У вас есть дети? — спросил он.

Сложив руки на коленях, присмиревшая и растерянная, она ответила:

— Двое. Два мальчика.

Прерывисто вздохнула.

— Хорошие мальчики. Учатся хорошо. Погодки.

— Как? — не понял он.

— Погодки. Одному тринадцать, другому — четырнадцать.

— Да, погодки...

Задумавшись, он смотрел себе под ноги. Она поняла: он сдается. Еще не сдался окончательно, но, кажется, готов. Глаза ее загорелись. Губы, казалось, стали еще ярче.

— Такие мальчики,— сказала она.— Один хочет быть врачом, вот как вы, хирургом!

Может быть, она солгала. Даже наверняка солгала. Никем он не хочет быть, ее мальчик, меньше всего хирургом. Если еще ее мальчики удались характером в отца, тогда ей решительно не позавидуешь.

Бант на ее шляпке уже не казался ему смешным. В сущности, шляпка как шляпка, не хуже других. И красное платье не раздражало,— обыкновенное платье, не новое, не очень модное. И руки у нее шершавые на ощупь, с короткими ногтями, рабочие руки... А глаза бегают потому, что она боится. Всего и всех боится. А больше всех — мужа. Это как пить дать.

— Хорошо,— сказал Алексей Сергеевич.— Я завтра буду в в больнице. Завтра все решим.

Больница жила своей обычной жизнью, как жила многие годы при нем, как будет продолжать жить без него.

Ничто не изменилось за эти два дня.

Алексей Сергеевич шел по коридору. Сестры пробегали мимо, торопливо здороваясь: врачи подходили к нему и говорили о своих делах, о своих заботах.

Казалось, никто и не заметил его отсутствия.

Возле лифта ему повстречалась Мария Карловна — хорошенькая, свеженькая, черные японские глаза чуть припухли, как и обычно утром, гладко зачесанные волосы блестят. Веселое личико ее при виде его сразу же стало озабоченным. Ему было просто любопытно наблюдать, как она пыталась выглядеть печальной, а это никак у нее не получалось.

Ему не хотелось говорить о своем здоровье, о перспективах лечения, о всех тех бесполезных и, должно быть, не так уж интересных для нее вещах. И он постарался опередить ее — стал рассказывать о реконструкции больницы.

Мария Карловна неподдельно оживилась.

— А рентгеновским, как думаете, займутся в конце концов? — спросила она.

— Безусловно,— ответил Алексей Сергеевич.— Постепенно, одно отделение за другим будет обновлено и перестроено.

Она воскликнула:

— Вот хорошо бы!

Лифт остановился. Она выскочила первой. Не оглядываясь, быстро пошла по коридору, уже полная своих, интересных для нее мыслей, далекая от него, от его снимка, от болезни, о которой ей пришлось узнать первой.

И он не сердился на нее. Это было еще одним проявлением человеческой природы, во всяком случае безусловно искренним.

Он не успел надеть халат, как в кабинет вошел его ученик, хирург-ординатор Костя Яковлев.

Косте минуло уже тридцать, но все в больнице звали его по имени — Костя.

Он был маленького роста, сзади легко примешь за подростка: круглое мальчишеское лицо, широкий нос, вихры на макушке. Но руки у него были превосходные, в таких руках кончики пальцев кажутся зрячими, настолько они чутки, безошибочны,— руки врожденного хирурга.

Костя был способным, жизнестойким, хорошо знал, чего он хочет и чего следует добиваться.

— Мне сказали,— осторожно начал он,— что вы больны и не будете покамест бывать у нас.

— Слухи оказались, как видишь, преувеличенными.

— Как здоровье? — спросил Костя.

— Все в порядке.

Алексей Сергеевич понимал: Костя, разумеется, огорчен за него, но все-таки главное, что волнует его,— придет ли он, его шеф и учитель, на защиту диссертации, и он сказал, глядя Косте в глаза:

— Я обязательно приду на защиту, как говорили. Можешь не беспокоиться!

Костя заметно приободрился и стал рассказывать о том, что он собирается, если все будет хорошо, взять отпуск и отправиться в Бакуриани, походить на лыжах: вот-вот установится зима, по его мнению, этой зимой будет много снега, и он, само собой, постарается взять свое. Ведь всю прошлую зиму сидел над диссертацией и ни разу, ни одного дня не сумел выбрать, чтобы походить на лыжах.

«И этот тоже полон собой, своими делами,— думал Алексей Сергеевич, слушая Костю.— Ради приличия, из вежливости, он спросил о моем здоровье и вот уже и не помнит о том, что я болен, он хочет, чтобы я пришел на его защиту, хочет успешно защитить диссертацию и поехать в отпуск. И это все, что ему нужно от меня».

— Однако,— сказал Костя, взглянув на часы,— я обещал еще зайти к главному.— Кивнул Алексею Сергеевичу и выбежал из кабинета.

Пекарников лежал на своей койке, далеко от окна,— подушки

подняты, ноги покрыты вторым одеялом — боялся простуды. Он с аппетитом ел яблоко и что-то рассказывал Сереже Фогелю, должно быть о том, как он себя чувствовал ночью и как чувствует себя теперь.

Увидев Алексея Сергеевича, Пекарников остановился на полуслове, но тут же опомнился.

— Доктор,— почти запел он, пытаясь прожевать яблоко,— наконец-то! А мы-то думали, что вы скрылись и не покажетесь больше.

— А я — вот он,— сказал Алексей Сергеевич.

Откинув простыню, он присел на край постели, вглядываясь в лицо Пекарникова: он не успел задать ни одного вопроса, потому что Пекарников тут же начал подробно докладывать о своем состоянии, не пропуская ничего — ни головной боли, внезапно охватившей его вчера вечером, ни колебаний температуры от двух до четырех десятых, ни возбужденного пульса с частыми выпадениями.

Наконец Пекарников исчерпал запас наблюдений над самим собой, спросил деловито:

— Когда назначаете операцию?

— Надо подумать,— ответил Алексей Сергеевич.

Пекарников озабоченно догрызал яблоко. Он боялся, что перегнул малость со своими ощущениями и тем самым напугал врача.

— Сегодня утром у меня была нормальная температура,— сказал он.— Тридцать шесть и четыре.

— Три раза мерил,— вмешался Сережа Фогель,— каждые полчаса требует у сестры термометр,— и незаметно подмигнул. Но лицо Алексея Сергеевича оставалось сосредоточенным.

— Стало быть, начнем, пожалуй, готовиться. Сегодня пришлю к вам анестезиолога и терапевта.

— У меня все анализы сделаны,— сказал Пекарников.

— Я знаю.

Пекарников лег ниже, с привычной сноровкой задрал рубашку по горло.

— Будете смотреть?

— Как водится.

Он ощупал живот Пекарникова. Тот лежал не шелохнувшись, глаза блаженно закрыты.

Осмотрев его, Алексей Сергеевич пересел на койку Сережи.

— Что у вас слышно, Сережа?

Но Сережа ничего не ответил, потому что Пекарников перебил его:

— Я забыл сказать, что у меня некоторое нарушение желудочно-кишечного тракта...

Сережа прыснул в подушку.

— Я же сказал,— невозмутимо произнес Алексей Сергеевич,— сегодня займемся вами.

Потом он прошел в палату, где лежали другие его больные, потом — к старшей сестре, вызвал к Пекарникову терапевта и анестезиолога.

Затем поднялся к Марии Карловне посмотреть рентгеновские снимки больных и после еще разыскал Костю Яковлева, чтобы договориться о предстоящей через два или три дня операции.

Суета повседневных дел захватила его. И боли в печени он не чувствовал. Вернее, так, совсем немного. С такой болью еще можно жить и работать.

Он поймал себя на том, что забыл об опухоли. Начисто забыл, как будто ее и в помине не было. Незаметно положил себе руку на живот, слегка надавил. Никуда она не делась, здесь, как и раньше. Да и куда ей деться?

В коридоре, когда он шел в свой кабинет, его обогнал Павлищев.

Он остановился перед ним — огромный, в развевающемся белом халате, маленькие медвежьи глазки смотрели цепко, с немым вопросом.

И, отвечая на этот выразительный, хотя и безмолвный вопрос, Алексей Сергеевич ответил:

— Все хорошо, Петро. Я, как видишь, в форме.

— Оперировать собираешься?

— Да.

Заложив руки за спину, монументальный, по-своему даже красивый Павлищев медленно шел рядом с ним.

— Хочешь, возьми меня ассистентом.

— Нет, Петро, лучше Костя.

— Костя? Почему Костя, а, скажем, не я?

В голосе Павлищева притаилась обида.

— Костя мало оперировал прошлый год.

— Ладно,— согласился Павлищев.— Костя так Костя.

— Костя, на мой взгляд, перспективный хирург,— начал Алексей Сергеевич.— Мало того, он еще и администратор превосходный. Да, да,— все более разгораясь, продолжал он.— Ты даже и представить себе не можешь, какой это отличный администратор!

Павлищев метнул на него испытующий взгляд. И вдруг понял. Разом, в одно мгновение понял все.

Погрозил ему толстым пальцем:

— А ты хитрый!

— Чем же?

— Прочишь Костю на готовенькое?

Алексей Сергеевич ничего не ответил.

— А я не отпущу,— сказал Павлищев.— Возьму и не отпущу тебя, вот так, ни в какую!

Алексей Сергеевич не принял его улыбки, поблескивающих глаз, игривого тона.

— Придется,— сухо сказал он.

Послышались торопливые шаги. Они обернулись. Терапевт Алферов, размахивая руками, поспешно догонял их.

— Только что от Пекарникова,— сказал он.— Выслушал, выстукал, все как полагается.

Алферов был старый врач, в одно время с Павлищевым и Алексеем Сергеевичем поступивший в больницу. Его круглое щекастое лицо весельчака и жизнелюба лучилось сияющей улыбкой.

— Великая штука строфантин,— чуть задыхаясь от быстрой ходьбы, сказал он.— Несколько капель, всего лишь несколько, и, глядите-ка, дряблая мышца, словно по щучьему веленью, просто переродилась!

— Ну уж и переродилась,— сказал Алексей Сергеевич.

Розовые щеки Алферова побагровели.

— Не верите? Я сам себе не поверил, и так слушал, и этак, словно вчера на свет появилась. Честное слово!

Доктор Алферов был из породы безобидных вралей, готовых ради красного словца наговорить даже на самого себя. Все в больнице знали об этом, над ним незло подшучивали, и он никогда не обижался.

Но теперь Алексей Сергеевич поверил ему, прежде всего потому, что хотел поверить, и потом он понимал: сейчас Алферов врать не будет, ведь Пекарникова готовят к операции.

— Надо будет еще раз кровь проверить.

— Уже взяли,— кивнул Алферов.— Час назад. Скоро будет готово.

— Стало быть, через три дня, думаю,— сказал Алексей Сергеевич.

Павлищев молча слушал их, переводя взгляд с одного на другого.

— Знаешь, Петро, ты сейчас похож на памятник самому себе,— сказал Алексей Сергеевич.

— Не обо мне речь. Значит, через три дня? Благословляю! — Павлищев поднял обе руки кверху, словно и в самом деле собирался благословлять.

— Через три дня,— повторил Алферов.— Так и запишем.—

И помчался вперед, с удивительной легкостью неся свое грузное, располневшее тело.

Павлищев положил тяжелую руку на плечо Алексея Сергеевича, вместе с ним подошел к окну.

Зябкий осенний день расстилался над больничным двором, над промерзшими за ночь лужами, над обожженной первыми заморозками травой.

Медленный ветер шевелил голые ветви лип.

— Люблю осень,— сказал Павлищев.— Бодрое время года.

— По-моему, ты и весну приемлешь.

Павлищев засмеялся.

— Я — животное всеядное, все люблю — и дождь, и снег, и оттепель, и жару.

Алексей Сергеевич повернул голову, внимательно, словно впервые, разглядывая лицо Павлищева, сильную его шею, такую красную, словно ее в течение целого часа терли мохнатым полотенцем.

— Сколько в тебе жизненных сил, Петро,— сказал он.— На сто пятьдесят лет хватит.

Павлищев сощурил свои медвежьи, глубоко запрятанные глаза, и они стали совсем маленькими под мохнатыми, нависшими бровями.

— Слезлив я стал, Алешка,— сказал он.— Должно быть, оттого что старею.

— Закономерно,— сказал Алексей Сергеевич.— Все мы стареем.

Павлищев слегка наклонил голову, как бы боясь встретиться с ним глазами.

— Только тебе я могу сказать... Вот увижу какую-нибудь ерунду, травку там какую-то, что торчит из-под камня, или первый снег на улице, белый такой, незахватанный и арбузом пахнет. Ты не замечал, между прочим, что снег в самом начале зимы обычно арбузом пахнет?

— Нет, не замечал.

— Ну, а мне почему-то так кажется. Да, снег... Или на муравейник в лесу набреду, муравьи такие все работяги, суетятся, каждый чем-то занят, каким-то своим маленьким делом, и вдруг чувствую, черт его знает почему, реветь хочется. В голос...

Притворно засмеялся. Должно быть, ждал, что Алексей Сергеевич начнет подшучивать над ним, и первый приготовился посмеяться над своими словами. Но Алексей Сергеевич слушал его с непонятным волнением. И у него, случалось, слезы набегали на глаза при виде молодых, едва распустившихся листьев или блестящей, жарко залитой солнцем реки.

Прошлым летом, в августе, он был за городом, шел полем, от созревших, смугло-золотых колосьев овса тянуло сытным, ровно устойчивым теплом.

Пройдя немного вперед, он оглянулся. Тихий ветер пробегал над колосьями, и каждую минуту поле меняло свой цвет: то становилось зеленым, то золотистым, то перлово-коричневым. И такая боль и в то же время такое, никогда не испытанное им чувство умиленной, растроганной нежности внезапно сжало его сердце, что он остановился, не мог идти дальше, и все смотрел, не мог оторваться от этого изменчивого, волнистого шелкового простора, оставшегося позади.

— Ты стихи когда-нибудь читаешь, Алешка? — помолчав, спросил Павлищев.

— Стихи? — удивился Алексей Сергеевич.— Нет, очень редко. Давно не приходилось.

— А я читаю и тебе советую. Особенно — хорошие стихи. Вот недавно перечитывал Есенина. Очень он точно пишет. Как это, помнишь? — Павлищев наморщил лоб, поднял глаза кверху.— Начало забыл. Дальше так:

Этих нив, златящихся во мгле,
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

— Знаю я,— сказал Алексей Сергеевич.— «Знаю я, что в той стране не будет...» Вот начало.

— Как? — спросил Павлищев.— Да, верно. Помнишь, Алешка, как мы с тобой когда-то Есенина наизусть учили? — Коротко засмеялся.— Экзамены на носу, патанатомия и общая хирургия подпирают, а мы влезли в Есенина, ни о чем другом и думать не хотим!

Алексей Сергеевич тихо повторял про себя слова поэта:

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.

Снова, очень ясно, вспомнилось поле под тихим ветром, тяжелые колосья, поминутно менявшие свой цвет, и то странное, удивительное чувство, которое охватило его тогда.

— Нет, ты только подумай,— снова начал Павлищев.— Как это в сущности верно: потому что дороги мне люди, дороги, понимаешь?

— Понимаю,— сказал Алексей Сергеевич.

Павлищев замолчал, словно прислушиваясь к чему-то слышному только ему.

— Мало мы знаем друг друга,— с неожиданной горечью про-

изнес он.— Мало знаем, недостаточно любим, и, главное, каждый из нас друг для друга поистине terra incognita[1].

— Почему terra incognita? — спросил Алексей Сергеевич.

Павлищев смотрел в окно, на пустынный, казавшийся продрогшим больничный двор.

— Очень мы поверхностно относимся друг к другу. Обидно поверхностно. Каким показался человек поначалу, таким и принимаем его, а ведь, по правде говоря, любого копни, кого хочешь, там такие пласты заложены, сам удивишься...

Алексей Сергеевич слушал его и сердился. И на него, и на самого себя. Должно быть, если послушать со стороны, оба они покажутся смешными — рассентиментальничались, размягчились, еще немного, и слезы лить начнут, чего доброго.

— Ты, Петро, не мужчина, а сплошная мозаика,— насмешливо сказал он.

Павлищев виновато сдвинул брови.

— Не то говорю? Да, Алеша?

— Не то чтобы не то, а вот слушаю тебя и никак не пойму, к чему ты клонишь? К изучению поэзии, к всеобщей любви, к всестороннему пониманию всего и всех, так, что ли?

— Хотя бы,— Павлищев откашлялся.— Надо больше знать друг друга, дорожить людьми, понимаешь, дорожить, как самым что ни на есть ценным. Точнее не скажешь!

Алексей Сергеевич с интересом посмотрел на него. Играет ли Петро, сам того не замечая, что выгрался в свою роль, или говорит искренне? В основе своей это незаурядная натура, склонная к артистизму. Говорит волнуясь, сам верит тому, что говорит, понемногу увлекается и, конечно, не может не заразить своим волнением, увлеченностью.

— Возьми Алферова,— сказал Павлищев.— С виду враль, не дурак выпить и для баб в свое время тоже не последним человеком был. А копни малость, такие пояса залегания, о которых, может, он и сам не подозревает. Тут тебе и самопожертвование, и бескорыстие, и забота, да еще какая забота, не о себе, о других! Глядика, расцвел майской розой, когда об этой самой мышце рассказывал! Можно подумать, орден ему дали или, по крайней мере, медаль. А что ему, в сущности, эта мышца? Ведь так, рассуждая попросту, не своя — чужая.

— Он мне тоже нынче понравился,— сказал Алексей Сергеевич.

Павлищев неодобрительно скривил толстые губы.

— Какой ты, Алешка, по совести говоря, сухарь запеченный!

---

[1] Terra incognita (лат.) — неизвестная земля.

Он деланно усмехнулся.

— Ни то ни другое. Просто вы — молодец!

— Вот еще,— неодобрительно пробасила она.— Нашли молодца.

— Молодец,— повторил Алексей Сергеевич.— И знаете, такая...— Мучительно краснея, покрутил в воздухе пальцами, сказал, глядя в сторону: — Красивая, одним словом.

Елена Аркадьевна ошеломленно воззрилась на него, потом опустила глаза, провела рукой по своим жестким, коротко остриженным волосам. На смуглой щеке ее появилась ямочка.

— Что вы,— смущенно прогудела она.— Какая я теперь красивая! Вот когда-то, в молодости, говорят, ничего выглядела.

Елена Аркадьевна отродясь не была красивой. Но сейчас ей и самой верилось, что была. Пусть когда-то, давным-давно, а была.

Его тронуло ее смущение, и невинная гордость своей призрачной красотой, и ямочка на ее щеке, такая неожиданная, словно трава в снегу.

И он подумал о том, что и в самом деле люди часто равнодушно проходят мимо друг друга, не желая ближе узнать один другого, не стремясь, как говорил Павлищев, копнуть глубже.

Ему захотелось сказать ей, как давеча Вале, какие-то особенные, теплые слова, но он не мог ничего придумать. Как ни старался.

— Знаете,— сказал он,— наверно, и в самом деле, строфантин — великая штука!

— Чем же великая?

— Несколько капель, и дряблой мышцы, что называется, как не бывало!

Она спросила:

— Это у Пекарникова?

— У него. И кровь тоже, как видите, без патологических сдвигов.— Подумал и удовлетворенно добавил: — Теперь будем оперировать. Со спокойной душой.

Он умер за несколько дней до защиты диссертации Костей Яковлевым.

СОДЕРЖАНИЕ

Людмила Захаровна Уварова

ГДЕ ЖИВЕТ ГОЛУБОЙ ЛЕБЕДЬ?

Редактор **И. Н. Фомина**
Художники **Г. Н. Бойко, И. Н. Шалито**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **Т. Ф. Клапцова**
Корректор **Т. И. Низамова**

Сд. в набор 31/III-70 г. Подп. к печ. 23/VI-70 г. Форм. бум. 84×108 1/32. Физ. п. л. 3,0. Усл. п л. 5,04. Уч.-изд. л. 5,87. Изд. инд. ЛХ-521. А03174. Тираж 50 000 экз. Цена 17 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 1204.